

М. А. ГЕРШЕНЗОН

ГОД НА ВОЙНЕ

ИЗ ПИСЕМ И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 1941—1942 гг.

Публикация Л. С. Коган и А. Г. Когана

Предисловие А. Г. Когана

Библиография произведений Михаила Абрамовича Гершензона (1900—1942), детского писателя и переводчика, погибшего смертью храбрых в боях за Советскую Родину, насчитывает свыше 50 названий. Некоторые из этих книг живут и до сих пор: например, в 1963 г. появилось очередное переиздание «Сказок дядюшки Римуса» — фольклора американских негров, «открытого», переведенного и обработанного Гершензоном еще в 1936 г.; со страниц этой давно полюбившейся нашим маленьким читателям книги Братец Кролик шагнул и в диафильмы, и в кукольный театр и зажил там самостоятельной жизнью — настолько самостоятельной, что сегодня уже мало кто из юных читателей, слушателей, зрителей, подружившихся с Кроликом, знает, кому он обязан этой встречей... Иные же книги Гершензона, в том числе и широко в свое время известное биографическое повествование о музыканте Французской революции, «Две жизни Госсека» — пожалуй, лучшее из того, что им было написано, — много лет не переиздавались... Как бы то ни было, если не творчество, то имя Гершензона уже давно оказалось как бы выключенным из активного литературного процесса.

И вот — новая встреча с писателем. А для многих читателей — и первая...

Чем волнуют сегодня эти, пролежавшие столько лет в личном архиве писателя, лаконичные, но вместе с тем точные фронтовые записи и письма? Пожалуй, не только тем, что мы словно опять слышим голос тех далеких дней, долетевший к нам через двадцатипятилетие; и даже не только тем, что они открывают самые трудные и трагические страницы первого периода войны. Всё это есть в записях и письмах Гершензона; однако не менее интересны они и тем, как ярко раскрыто в них становление характера человека насквозь «штатского», мирного, жившего до войны в высоком, гуманном, необычайно благородном, но, может быть, чуть-чуть отвлеченном, книжном мире и научившегося воевать, не теряя при этом ничего из тех лучших человеческих качеств, которые были воспитаны в нем нашей жизнью; интересны как самораскрытие того общественного типа, который мог бы сказать о себе словами одного из героев повести Веры Пановой «Спутники» — интеллигента Крамина: «Я настоящий человек... Я ходил защищать мое богатство».

Гершензон тоже защищал «свое богатство» — и тогда, когда он, вступив в народное ополчение, вгрызался лопатой в окаменевший грунт, чтобы отрыть окоп полного профиля или противотанковый ров; и тогда, когда, по вызову командира, первым записался во взвод разведки; и тогда, когда, попав на штабную работу, тосковал и рвался на передовую, чтобы сражаться с оружием в руках и чтобы увидеть своими глазами ту суровую реальность войны, о которой нельзя было правдиво написать с чужих слов.

М. А. ГЕРШЕНЗОН

Фотография. Западный фронт, 1942

Собрание Л. С. Коган, Москва



В октябре 1941 г. на Западном фронте враг начал новое наступление, ему удалось прорвать оборонительные позиции Красной Армии; остатки разбитых дивизий, оказавшись в окружении, устремились на восток — мелкими группами и крупными отрядами они шли с боями через леса и болота, чтобы любой ценой пробраться к своим. В этих испытаниях люди вели себя по-разному. Слабые — скулили, сгибались, сильные — закалялись и делали свое дело. Гершензона нельзя было назвать стальным. Но он выстоял. Выстоял не только физически, но и — что куда важнее — духовно. Его воспоминания «Семнадцать дней» — не только летопись горя, но и памятник мужества.

Гершензон ищет себя, свое место на войне. Работает переводчиком в Поарме-5, много пишет для армейской газеты; бойцам нравится затеянный им постоянный раздел «В лагере врага» — под этой рубрикой он печатает острые фельетоны, в которых использует выдержки из писем и дневников, найденных у убитых и пленных немцев. Но Гершензон по-прежнему стремится на передовую. Летом 1942 г. он в непосредственной близости от окопов врага проводит выступления подготовленных им бойцов с антифашистскими лозунгами на немецком языке и обращенными к неприятельским солдатам и офицерам призывами прекратить борьбу и сдаваться в плен.

Интересно проследить по его записям, как движение времени отражается в развитии души человека, в эволюции творческой манеры писателя. В огне боев отсеивается романтика книжная, уступаая место романтике жизни; строже становится стиль, наблюдательнее глаз. Фронтные записи Гершензона — отрывочные, скупые — «берут в плен» читателя своей подлинностью, не только ярко выраженным личным, лирическим началом, но и — прежде всего — точностью зарисовок, верным ощущением пульса войны, ее ритма, динамики; малое предстает в них как частица великого. За каждой краткой зарисовкой возникает тяжелый и героический облик войны, отражающийся и в мелочах; возникают люди — с их голосами, чувствами, судьбами...

Свойственные Гершензону эмоциональность, мягкость, чувствительность покидают его на войне не сразу и не вовсе. В самые жестокие дни отступления он думает о детях, в том числе — и о немецких (см. стихотворение «Рыжик» в письме от 17 но-

ября 1941 г.). И если уж у такого человека в одном из писем прорывается желание, чтобы и «мирные» немцы узнали на себе ад бомбежки (см. письмо от 7 июля 1942 г.), то это значит, что душой его овладела та жестокая, но необходимая для победы диалектика войны, которая нашла свое выражение в чеканной формуле: «наука ненависти», — наука, не овладев которой, невозможно было вернуться и к искусству любви!

В самые горькие, тяжелые дни войны Гершензон не переставал думать о будущем: о судьбе страны, ее завтрашнем дне и о своем месте в этом завтра: «...немедленно после победы начнется новая война — за восстановление разрушенной жизни. Нужно будет сеять и строить — не знаю, не представляю себе еще, в какой форме это будем делать мы. Сейчас можно только фантазировать. Но боюсь, что на ряд лет беллетристика будет неудовлетворяющей, слишком *надстроечной* работой. Газета — для меня, конечно, детская — оперативней. Какие-нибудь детские совхозы для детей погибших, экспедиции по лесонасаждению, — куча будет организационной работы, которую должна будет поднять детская печать. И очень-то не разотдыхаешься, лет пять» (письмо от 11—13 июля 1942 г., не вошедшее в настоящую публикацию).

Во имя этого Завтра и погиб Гершензон. «Я уверен, что мы победим <...>. Наши прорвались, бегут вперед, я умираю не даром», — этими словами, внесенными в записную книжку после смертельного ранения, писатель-солдат простился с жизнью, с Родиной. Человек, чьим героем был музыкант Французской революции, встретил смерть, подымая в атаку бойцов...

Приводимые ниже воспоминания Т. С. Грица о Гершензоне на фронте завершаются фразой: «Так закончилась вторая жизнь Михаила Гершензона». Пожалуй, это сказано неточно. Вторая жизнь Михаила Гершензона — писателя-воина — публикацией этих материалов только начинается.

В настоящую публикацию включены избранные письма Михаила Гершензона к жене — Лии Семеновне Коган и сыновьям — Евгению и Юрию, а также некоторые из его фронтовых записей, являющиеся по существу законченными произведениями: «Гурштейн и Хисматуллин»*, «Семнадцать дней» и «Концерт». Хотя эти записи сделаны в июне 1942 г. (см. письмо от 13 июня 1942 г.), мы помещаем их среди писем в соответствии с хронологией описываемых событий: посвященные трем периодам военной биографии писателя — ополчению, окружению, службе в кадровых частях, — эти рассказы-воспоминания вместе с письмами дают более отчетливое представление об этапах недолгой фронтовой жизни Гершензона. Публикация завершается письмами и воспоминаниями сослуживцев Гершензона, характеризующими боевую деятельность писателя, раскрывающими обстоятельства его героической гибели.

В публикуемых текстах писем сделаны небольшие сокращения, связанные, главным образом, с подробностями личного, бытового характера.

Все материалы настоящей публикации хранятся у Л. С. Коган.

9 августа <1941 г.>

Лилюшка, дружочек мой! Все хочу написать тебе подробно, но не могу вырвать и двадцати минут. То поход, то работа, чуть выдастся свободное время, сразу засыпаю. Чувствую себя очень хорошо и бодро, не хватает для спокойствия только весточки о вас и Журке¹. Никогда я вас так не любил, как сейчас. Листик мой дорогой, вот бы увидеть тебя на минутку! Последние годы я ощущаю сейчас как одну сплошную линию радости. Спасибо тебе, мой светлячок. Ты была бы довольна мной сейчас. Я легко себя чувствую с самыми разными людьми. (Продолжаю день спустя.) На ладонях у меня такие мозоли, что лопата в них ходит ладно. В общем, все считают меня образцовым солдатом. И по секрету мне уже товарищи сообщили, что меня выдвигают на пост отделенного командира.

* Об этом рассказе говорится в статье А. Когана «Сквозь время» (сб. «Живая память поколений», М., изд-во «Художественная литература», 1965), во многом опирающейся на материалы настоящего тома, с которыми автор имел возможность познакомиться в рукописи.

Но я по правде совсем не солдат, Лилочка. Писать некогда, некогда сосредоточиться даже на 10 минут. Все-таки перепису для тебя стишок, который я сочинил во время 60-километрового перехода, — может, он расскажет тебе немножко обо мне:

Нужны нам были жерди и стропила
 Для лагерного шалаша.
 Пила — и та все зубья иступила,
 Березки белые кроша.
 Прости, кудрявенькая прямостволка,
 Что под пилой упала ты.
 Мне дорога твоя сквозная чёлка,
 Как милой ясные черты.
 Не я, не я, война тебя сломала,
 Природы светлая душа,
 Нам было нужно много материала
 Для лагерного шалаша. <...>

¹ Евгений — сын Гершензона от первого брака, был эвакуирован в г. Чистополь вместе с детьми других писателей-фронтовиков.

20 августа <1941 г.>

Лилушка, светлячок мой! Так хочется, чтобы это письмо дошло до тебя! У меня от вас до сих пор — ничего, после московского письма. О стольком хочется, о стольком нужно поговорить с тобой.

24-е

Как трудно вырвать время, чтобы написать вам! Только начал — оторвался, — и не было ни минутки. За эти дни меня назначили командиром отделения в новой роте и приняли в кандидаты партии. (Уже утвердили все инстанции.) Я даже не знаю, с чего начинать. С того, что очень, очень люблю мою дорогую черную головку? Это ты сама знаешь, Лилочка. Как хорошо, что ты успела проводить меня, что я получил хоть одно письмо, — мне легко дышать от этого.

Я уже не в писательской роте. Как-то пришли, звали добровольцев в разведчики, я пошел один. Тут совсем другой народ, все молодые ребята, много деревенских. В смысле коллектива — много хуже, но я чувствую, что я здесь куда нужней. Ездил в разведку самокатчиком. Это увлекательно и очень трудно. Летишь в полной темноте по сельским дорогам и тропам, наугад, вдруг — кувырк в канаву, или в куст, или в овраг. Накувыркался в полное удовольствие. <...>

Чувствую, что изменился — стал собранней как и подобает отделенному. Винтовку научился чистить в десять минут — видишь, какой я умный! Писать — и думать — не успеваю совсем. По части земляных работ я стал мастером, могу сладить с любым грунтом. В записную книжку кое-что записываю, очень редко и бестолково. <...>

Меня заботит, Лилюк, получаешь ли ты регулярно деньги из Литфонда. Должна получать. Получила ли мои письма, телеграмму? Устроилась ли на работу? Будет ли в этом году учиться Юрий? ¹ Миленский мой, рыженький, дорогой мой мальчик! Вот увидимся, я тебе расскажу про мое оружие — миномет.

Очень хотелось бы тебе порассказать о людях, но это долго, не успею. <...>

¹ Юрий — сын Л. С. Коган, второй жены писателя, усыновленный М. А. Гершензоном, был с матерью в эвакуации в Новосибирске.

6/IX <1941 г.>

Здравствуй, Лилочка! Наверно, двадцатое письмо уже пишу, а от тебя ни строчки. Я знаю, ты писала, но очень уж грустно ничего о вас не знать. Жизнь у нас идет размеренно, даже слишком спокойно. Очень

хочется на фронт¹, но всё не вызывают. Остается только ждать и делать здесь всё, что можно. За последние дни я написал несколько стихотворений², частью — для газеты³, частью — для себя. Газетные не посылаю тебе, да и у себя не оставляю копий. А вот эти хочется послать⁴.

ВОЕННАЯ ОСЕНЬ

Солнце от облачка к облачку делает перебежку.

Это — начало осени, осень с войной — вперемешку.

Вдруг удивит березы ранняя желтизна, —

Латунными, мертвыми листьями тянется к солнцу она.

По листьям уныло ползают красные божьи коровки.

Они и не знают, что это — дерево для маскировки.

Так и шагает по лесу эта военная осень, —

А в небе — высокая, летняя, непостаревшая просинь. <...>

¹ В это время дивизии Московского народного ополчения занимали позиции во втором эшелоне обороны.

² Много лет занимаясь литературным трудом, Гершензон профессиональным поэтом не был и до войны стихов никогда не печатал. Война с ее невиданными испытаниями и небывалым накалом чувств заставила Гершензона (да и не его одного) обратиться к поэзии. О стихах, которые он пересылал в своих письмах с фронта, он говорил как о «страничках дневника» (см. также об этом в следующем письме — от 10 сентября 1941 г.).

³ Речь идет, по-видимому, о стихах, печатавшихся в 1941 г. в газете «Доблесть» 8 Краснопресненской дивизии Московского народного ополчения.

⁴ Кроме «Военной осени», в письме были присланы еще два стихотворения: «Звери» и «Черные, тонкие трубки...»

10 сентября <1941 г.>

Наконец, Лилюшка, получил от тебя первое (от 25/VIII) письмо (ни открыток с дороги, ни телеграммы не получал). Верно, и мои письма затерялись — я писал и со стихами и без; особенно жалко, если не получила письма про Гурштейна и Хисматуллина¹. Ну, ладно, хоть что-нибудь, да получишь — я пишу часто. <...>

Я очень надеюсь скоро, хоть ненадолго, попасть на фронт. Очень истомило ожидание настоящей активности. Кое-чему я научился в военном деле и думаю, что буду полезен.

Прерываю письмо — нужно строиться и идти на обед.

Вижу я мало — мои товарищи все — 17—18 лет, «голубятники», мало интересные ребята. Днепр видел, узенький, как Клязьма; а все-таки в голову всё лезут стихи, но работать над ними некогда. И я, как всегда, не знаю, чего они стоят. <...>

С тех пор, как я уехал, я не видел ни одной книги, кроме уставов; для меня писание стихов заменяет и чтение; но редко, когда удается что-нибудь кончить: дело оторвет, настроение улетучится, останутся две-три строчки, строфа. А все-таки из стихов ты лучше узнаешь, как я живу. Это, кажется, растянуто и конец плохой, но исправить некогда было.

Что случилось с небосводом. Никогда

Он не был так вместителен и ёмок.

От сизого рассвета до потемок

В нем ветер строит башни, города

Из облаков и туч. И синеве просторно,

И радуга цветным ручьем течет,

Оттенкам неба потерялся счет —

Зеленый, матово-жемчужный, черный...

Под этим куполом — как детские бирюльки,
 Деревни притулилися по кочкам,
 Церквушка машет беленьким платочком,
 И озеро лежит в своей кастрюльке.
 Леса в полях брели и заблудились,
 А он все ширится, огромный небосвод,
 Земное все, что дышит и живет,
 Вобрать в свой круг и успокоить силясь.
 Но он, как раковина, он вбирает шумы;
 Сквозь купол прорывается война,
 И если здесь земля пощажена,
 Ежеминутно слышится угрюмый,
 Тяжелый гул, такой, что и поля
 Подрагивают, шкурой шевеля,—
 Такие ухающие разрывы,
 Что и березки, вдруг затрепетав,
 Оглядываются, на носки привстав,
 И спрашивают: «Все еще мы живы?»

¹ Это письмо (от 29 августа 1941 г.) было получено. В нем излагалось содержание задуманного рассказа «Гурштейн и Хисматуллин», публикуемого ниже.

Из записной книжки

ГУРШТЕЙН И ХИСМАТУЛЛИН

Ополчение ставило рядом людей разных биографий.

Мы шагаем и день и ночь по полям и лесам, — всё больше по лесам Смоленщины. Без карты, без компаса — мы идем, не раздумывая, не выбирая пути, туда, куда ведет нас подобранный, неутомимый на ногу, всегда веселый командир батальона, лейтенант Ульянов. Мы горды проводами, которые нам устроила Красная Пресня: вспоминаем, как вся Пресня была на улице — с ведрами, бочками, кружками, — и все благословляли нас в путь кружкой холодной воды. Мы непривычны были к походу. Ружья получили мы без ремней. Как догадались девушки Пресни, что трудно нести винтовку без ремня? Они приходили в наши ряды в короткие минуты привалов, с большими мотками тесьмы, и ружья подвешенные через плечо, становились легче.

В лесу, на поляне, нам выдали обмундирование, груда мешков с домашними адресами осталась в тени деревьев, и мы ушли с этой поляны *армией*. Хорошее стихотворение об этих минутах написал Вадим Стрельченко. Это была торжественная минута.

Теперь одинаково были одеты все, — как дети в одной большой семье.

Впереди меня шагал татарин Хисматуллин, грузчик из упаковочной артели. Он был прирожденный солдат. В сумке у него не было ничего лишнего, и он не снимал ее с плеч. Портянки и обмотки он заворачивал мгновенно, без складок. И ноги его всегда ступали твердо, вращая в землю. Я шел за ним, шаг в шаг: он выбирал дорогу, он видел в темноте, как кошка, он угадывал, где будет яма или пень, непонятным чутьем. Он мог позволить себе отстать, напиться воды. Я знал, что мне трудно догнать колонну. И очень скоро я усвоил: если отстанешь на шаг, — отстанешь и на два, и на сотню шагов, расстояние будет все увеличиваться, и когда раздастся крик: «Налево, привал!» — ты услышишь этот крик издали и, как ни спеши, поравняешься со своею шеренгой только тогда, когда, как игла, всех пронизжет возглас: «На дорогу!». Нужно идти

шаг в шаг, и тогда не отстанешь, и общий привал будет привалом и для тебя.

Хисматуллин на привале через одну минуту после остановки уже крепко спал. Мы шли 50 минут и 10 минут отдыхали, — и девять минут из них спал Хисматуллин. По лицу он не был похож на татарина — простое, открытое русское лицо; но говорил он с резким акцентом. После 50-километрового марша, когда ноги уже с трудом отрывались от земли и неизвестно было, сколько еще нам шагать, Хисматуллин восклицал:

— Когда же, в конце концов, будет этому переходу конца!

А кругом тянулись леса, и днем палило июльское солнце, и тропинки вливались в дороги, и пыль висела в воздухе, и васильки кивали нам из соломённых опушек пшеничных кустов, и винтовки на узенькой белой тесемке врезались в плечо, а заплечный мешок ломил лямками плечи. У меня подвернулась нога, и с грохотом я хлопнулся на землю, едва не задев Хисматуллина штыком. С этой минуты я перестал видеть лес, и поля, и облака, и луну в небе, и крупные звезды, и всю нашу колонну: я знал, что стоит мне ослабить внимание, и острая боль пронизает щиколотку, пог обольет все тело, винтовка загремит, а может быть, и заденет соседа. И много дней и ночей я видел теперь только одно: широкие башмаки Хисматуллина, твердо ступавшие по земле, по мокрой глине, по траве и по сучьям.

Рядом со мной шел писатель Арон Гурштейн. Маленький, старенький человечек с поседевшими волосами и жалкою, тонкою шейкой. Подслеповатый, он щурился и вытягивал голову вперед, а ноги его как будто и не касались земли.

— Разве я иду? Я лечу, — говорил он, поблескивая стеклышками пенсне. — Я ведь совсем ничего не вижу. Как вы думаете, Михаил Абрамович, удобно будет, если я буду держать вас за руку?

Я боролся с подвернутой ногой и не мог ничем помочь ему. Он шел, как слепой, протянув одну руку влево, деликатно нащупывая мой локоть, другую — вперед, чтобы держаться на шаг от передней шеренги. Прикоснувшись ко мне или к соседу спереди, он мгновенно отдергивал руку, боясь причинить беспокойство.

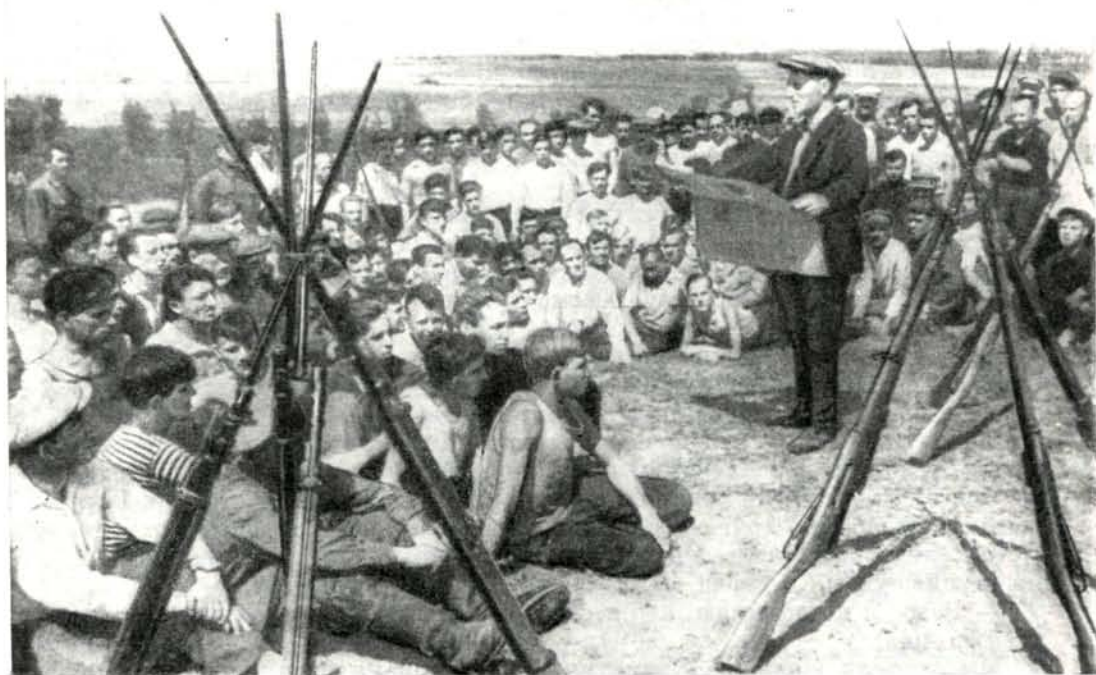
Его уговаривали сесть на повозку, следовавшую с нами. Но он согласился только на то, чтобы положить на нее свой рюкзак: он был полон жертвенности и боялся какой бы то ни было привилегии, самой маленькой уступки собственной слабости. Иногда он отставал. Взволнованный, нагонял он нас через полчаса, — он бежал наугад, натываясь на пни, на людей, и кричал: «Гершензон! Хисматуллин! Алешкин!» — и так счастлив был, когда, наконец, находил свой взвод, свое отделение, будто спасая от страшной опасности, от вечного одиночества.

Не знаю, как это вышло, но он переменял свое место в строю. Теперь он шел передо мной, с Хисматуллиным рядом. Он держался за его рукав. Я чувствовал — он боится этого тихого незнакомого леса, боится простора.

— Вы знаете, — сказал он мне раз на привале, после трех дней напряженного марша. — Я ведь никогда не ходил. Последний мой переход на большую дистанцию я сделал в год окончания гимназии. Я прошел тогда одиннадцать километров.

В год окончания гимназии! Сейчас этому маленькому щедедушному человечку было 46 лет. А за эти три дня мы прошли полтора километра по лесам.

Он, конечно, не умел разбить палатку, не умел застрегать колышки. И винтовка была для него тяжелее, чем был бы для Хисматуллина пулемет. Часто, под конец марша, я слышал, как говорил ему Хисматуллин:



ЛАГЕРЬ ОДНОЙ ИЗ ЧАСТЕЙ МОСКОВСКОГО НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

Фотография А. С. Шайхета, июль 1941 г.

Центральный архив кино-фото-фонодокументов, Красногорск

— Дай мне свой винтовка, я понесу, ты уже пополам сломался.

Но винтовку Гурштейн не мог отдать, — это был для него слишком святой символ. Он шел, наугад, как слепой, выбрасывая вперед коленки, скрючившись, каждую минуту готовый провалиться в яму, наскочить на ствол. И при этом он был всегда жизнерадостен и бодр, — ему придавала силы мысль, что он — в колонне, идущей на защиту всего дорогого, и он — пока не отстал. А на Хисматуллина он смотрел взглядом, полным благодарности: ведь он потому не отстал, что с ним рядом шел этот силач, и можно было держать его за руку.

Впереди нас ждали большие работы — рытье окопов, противотанковых рвов, постройка завалов, эскарпов, — а немцы двигались быстро и нам нельзя было мешкать. Мы шли и день и ночь, почти без сна. Как не хватало нам этого сна! Песок был в глазах, сами собой закрывались веки. Я видел уже сны на ходу, и какие-то странные галлюцинации овладели мною. В безлунные ночи казалось, что с двух сторон к дороге подступает глухая стена. Я невольно отдергивал плечо, чтобы не чиркнуть им по стене, которая была всего-навсего темнотой. А потом вдруг начинало казаться другое: будто пропасть открывается у обочины дороги, и надо идти осторожно, чтобы не сделать ни шагу вправо. Эта бездна была так реальна, что у меня замирало сердце, когда Гурштейн, задев за сучок, отскакивал на мгновение в сторону от Хисматуллина.

Тут сказались разница в биографиях. У Хисматуллина были великолепные мускулы грузчика, у Гурштейна — нервы газетчика. И мускулы сдали раньше, чем нервы: Хисматуллин начал засыпать на ходу. Он шагал, твердо ставя ноги. Но вдруг его поступь становилась неверной,

он делал, шатаясь, шаг влево или вправо, разбивая колонну, — пока кто-нибудь, стукнув его по плечу, не будил его. Он не мог преодолеть эту дрему, которая одурманивала раскочкой марша, однообразием движения, твоего собственного и многих сотен людей впереди тебя и позади.

Но Гурштейн не брала дремота: он был хозяином своей нервной системы.

— Хисматуллин, проснитесь, пожалуйста, — говорил он смущенно, дергая своего соседа за рукав.

Несколько минут Хисматуллин снова шел прямо, твердо ступая по земле. Потом опять — неожиданный поворот в сторону, — вот он уже вышел из шеренги и бредет куда-то в сторону, с закрытыми глазами.

— Держитесь за мою руку, Хисматуллин, — услышал я тихий шёпот Гурштейна.

Немного изменилось впереди меня: прежде маленький, тщедушный писатель держался за руку силача. Сейчас этот силач держался за руку своего соседа, над которым не властен был сон.

Много дней потом мы прожили вместе. Мы рыли окопы, пулеметные гнезда, эскарпы; Хисматуллин шутя перебрасывал груды тяжелой глины через пятиметровый ров; он легко перебросил бы через этот ров и Гурштейна. Маленький друг его с восхищением смотрел на красивую работу. Потом, подковырнувши лопатой комочек глины, он ронял его в воду, проступившую на дне рва, сокрушенно вздыхал и говорил:

— Разве я не понимаю, что я своей работой приношу только субъективную пользу?

Мы строили шалаши. Хисматуллин, взвалив на плечи пружинящий ствол березы, так легко и уверенно шагал по лужайкам. И Гурштейн говорил:

— Его все слушаются: и лопата, и топор, и береза, и глина. А меня... меня слушается только вечное перо, и то не всегда.

Он нашел работу для своего пера: он стал писарем в нашем полку — и с каким удовольствием в ведомостях или анкетах он писал имя своего друга!

В последний раз я их видел издали, возле вековой ветлы, под которой расположилась наша полковая кухня. Гурштейн, лукаво прищурившись, протягивал Хисматуллину письмо.

Как затемнение в кинофильме, этот кадр поглотило окружение. Их, наверное, бросило в разные стороны, как разметало всех нас, остальных. Я стараюсь представить себе Хисматуллина во всех тех положениях, в каких был я сам. Вдруг на опушке леса в двух-трех метрах вспыхивает розовый фонарик: это тяжелый немецкий танк, молчаливо ожидавший жертв в темноте, мигнул своим холодным глазом. Хисматуллин успеваает, конечно, броситься на землю прежде, чем цепочка светящихся пуль вырвется из тела чудовища. Он ловко метнет гранату, и над танком ударит фонтан искр — совсем как тогда, когда при мне подорвал <танк> врага быстрый, стремительный политрук, почти мальчик, с детским румянцем на щеках. Хисматуллин выдержит и купанье в ледяной Угре, и голод, и скитания в лесах, — я уверен, он жив, и пуля не посмела пробить его мускулы, — на северо-восток, на северо-восток, на северо-восток, — и он на воле, и лежит сейчас где-нибудь в десяти километрах от меня за раскаленным докрасна пулеметом или партизанит в районе Дорогобужа.

Но Гурштейн, маленький мой, благородный человек! Когда в ополченском лагере вырыли мы первый ровик уборной, с каким нескрываемым ужасом он воскликнул:

— Боже мой! Я предпочел бы еще три часа похода, чем сидеть над этой бездной!

Когда мы приходили в деревню, он обращался к хозяйке с такими словами:

— Будьте добры, голубушка, нельзя ли у вас получить порцию сметаны?

Как же представить себе его, отбившегося от всех друзей, под разрывами мин, под фашистскими самолетами, которые косым колесом кружат в небе и всякий раз, как опустится самолет до нижнего края колеса, из брюха его вываливается черная рыба, и мгновение спустя деревья, повозки, автомашины, лошади, люди взлетают в воздух вместе с глыбами опаленной земли, — и где-нибудь в стороне падают вниз два копыта, сирена, щепки оглобли и клочок человеческой кожи с прилипшими к ней волосами?

Я стараюсь не думать об этом, я стараюсь уверить себя, что нашелся какой-нибудь другой Хисматуллин, который бережно взял его за руку и провел по всем закоулкам смоленских лесов, ободряя, угощая кое-как испеченной в костре картошкой, оберегая его даже от тех опасностей, от которых не всегда мог уберечься и сам. Я стараюсь <не> думать и видеть только маленькую деталь одного кадра: руку, доверчивую руку, которая тянется в темноте к рукаву соседа по походной колонне.

В конце 1941 г. М. А. Гершензон получил от жены А. Ш. Гурштейна письмо с вопросом, не известно ли ему что-либо о судьбе ее мужа. В ответном письме Гершензон так характеризовал своего однополчанина: «...милый маленький Гурштейн стал мне большим другом за время походов и работы, очень родным и дорогим человеком. Мы много времени проводили вместе, особенно в походе и во время рытья окопов. Я не знаю лучшего примера мужественности, будничного героизма, чем то, как он встречал непомерные для него трудности, — всегда бодрый несмотря на страшную усталость, всегда приветливый, открытый к людям, готовый помочь любому. <...>

Я совершенно уверен, что выносливость к лишениям у него огромна, — и поэтому не сомневаюсь, что рано или поздно мы встретимся, и он, поблескивая стеклышками пенсне, будет с юмором рассказывать о пережитом, сразу забыв себя и вспоминая только о товарищах» (цитируется по подлиннику, хранящемуся у Е. В. Гурштейн).

Характеристика А. Ш. Гурштейна, данная в этом письме, совпадает с тем художественным образом, который нарисован в рассказе, и это свидетельствует о фактической достоверности публикуемого произведения, хотя отдельные штрихи (например, детали внешности) не отличаются полной фотографической точностью и привнесены автором для достижения большей выразительности и художественной цельности образа. (Ред.)

16.9.41

Здравствуйте, мои дружочки!

Пока от вас из Новосибирска было одно письмо, больше вообще ничего не получал. Третьего дня я вернулся с передовой линии, где провел три дня. Очень много интересного, так хотелось бы вам рассказать. Драться не пришлось, бой шел только артиллерийский и минометный. Страшно не было нисколько.

Юрашка, тебе очень интересно было бы посмотреть на меня. Представь себе: на голове у меня стальной шлем, одет я в хорошую шинель, а в дождь сверху еще — плащ-палатка. Еще у меня винтовка, куча патронов, пара гранат; и наган в кармане; у пояса еще саперная лопатка. Вот я какой страшный! Но ты меня не бойся: я так бы крепко тебя поцеловал, что у меня, наверно, даже гранаты лопнули бы.

Приехал, Лилюшка, и узнал, что у меня опять перемена: меня прикомандировали к штабу как переводчика, и я уже больше не разведчик, а — пока нет переводной работы — канцелярская крыса. Эту работу я терпеть не могу. Буду проситься, чтобы дали делать что-нибудь другое, а



ПОЧТА ПРИШЛА

Фотография, 1941

Литературный музей, Москва

то я скисну: весь день сиди и пиши, даже людей не видишь, словом не перемолвишься — все пишут, пишут. Я сразу заскучал — не по мне это.

А я как раз было наладил жизнь в землянке с пятью мальчиками, привязался к ним — теперь опять все новое. Там мы сложили печку, и, хотя она дымилась, было уютно и тепло. А тут я даже отсырел.

Видел, что немцы сделали с Дорогобужем — так и хочется дорваться до них. Методически разбомбили каждый каменный дом, а все деревянные стоят. Чего они там бомбили? Подумаешь, промышленный центр! А население уже возвращается, — вообще, люди так уверены в скорой победе, что далеко не трогаются от насиженных мест. <...>

27.9.41

Лилушка, родненькая!

Я все сижу без писем — из Новосибирска пока получил одно письмо, да два дня назад — твою московскую телеграмму. Я уверен, что ты писала, но тоскливо очень. Особенно теперь, когда я меньше занят, больше сам с собой; я недоволен очень теперешней должностью, — ничего не вижу, кроме бумажек. Не сегодня-завтра обещали собрать всех писателей — 46 человек — и поговорить с ними. Может быть, и будет какой-нибудь результат. Конечно, все мечтаем о работе во фронтовой газете.

28.9

Ни разу не удается написать тебе, не прервав письмо. Сегодня утром уже летали белые мушки — зима на носу. Ох, долгая будет эта зима. Живешь от сводки до сводки — все надеешься, ждешь перелома. На днях видел «Литературную газету» — так странно, что, как в мирное время, печатаются рецензии на какие-то спектакли, кто-то пишет статьи. Мне выдали командирское обмундирование, это очень приятно — уж очень завозил я брюки и гимнастерку, сколько кубометров глины в них перебросал! И очень рад я сапогам. Теперь стал каждую ночь разуваться, в ботинках с обмотками не решался. Обмотки у нас прозвали «макарона-

ми». Вот, болтаю о всяких пустяках, а сам все думаю — придет сегодня от тебя письмо? Тут есть счастливики, которые чуть не каждый день получают.

Эти дни я много работал над стихами. Тут со мной — Стрельченко, настоящий поэт. Он хвалит, требует поправок, — мне приятно ему читать. Он читает первые, сырые наброски мне, я — ему. Вообще, мы подружились, наверно, надолго. Очень милый, душевный парень.

Книги здесь есть, получили от Союза, там проводили сбор, — но я совсем не могу читать, и не представляю себе, как бы это я взял книгу в руки: в голове все время винтом мысль о войне.

Будь здорова, ясная моя. Стихи pošлю отдельно, может, какое-нибудь письмо затеряется, хоть одно получишь. <...>

Листик, посылаю тебе стихи. <...>

28.9.41

Если б мальчики были постарше,
Проводил бы я их на войну.
Шел бы рядом на первом марше,
Стал бы с ними в шеренгу одну.

Ты, Юрашка, мой милый верзила,
Шел бы, статный, как влитый в шинель.
А на Журке шинель бы скользила,
Будто ношена много недель.

Со спины посмотреть — эти каски,
И винтовки — солдат, как солдат.
А под каской — лукавые глазки
Так и светятся, так и блестят.

— Ну пора. Так запомните — вместе!
В одиночку боец — воробей.
И без толку на пулю не лезьте.
А настанет пора — не робей!

Нет, пожалуй, они б не всплакнули,
Да и я бы слезу проглотил.
И ушли бы — ушли бы под пули.
Я б гордился — двоих проводил.

Но сейчас, когда рвутся снаряды, —
Недолет, перелет, недолет,
Этот — рядом, совсем уже рядом,
Завалило песком миномет, —

Всюду пламя, и некуда деться
От настильных и навесных, —
Хорошо мне при мысли, что детство
Защищало мальчишек моих,

Что мы раньше врага уничтожим,
Чем успеют они подрасти.

Ты прости меня, Родина. Всё же
Я — отец. Потому и прости. <...>

№ 2516

Может, скажут: жил боец и помер.
На винтовке прочитают номер.
От росы ее прикрыло тело,
Оттого она не запотела.

А в канале черноты не мало,—
Видно, пуля долго не дремала.
Щелочи теперь побольше надо,—
Ох, и бить, и бить же будем гада!

Может, кто-нибудь и обернется:
— Двадцать пять-шестнадцать? Мне сдается,
Номерок как будто бы знакомый.
Ну, конечно, это военкома.
Помню, мы ходили с ним в разведку —
На прикладе выщербило метку.
Он любил, берег свою винтовку.
Полюбуешься, бывало, на сноровку,—
Вычистит от мушки до антабки *,
Все платочки изорвал на тряпки.
По три раза прочищает на день,
Чтобы ствол был сух и беспощаден,
Чтобы выстрелы дожились чисто —
Прямо в череп, прямо в мозг фашиста,
Чтобы в судорогах подыхала сволочь,
Ну-ка, братцы, у кого есть щелочь?

Щелочью нужно всегда чистить после выстрелов. Этого ты не знаешь?
А я не знаю, какая строка лучше:

Чтобы ствол был сух и беспощаден

(сухим должен быть канал *до выстрела*, чтобы ничто не мешало пуле)
или:

Полирует на проклятых гадин.

Были бы вместе, ты бы решила, а я послушался.
Ну, похвали! Мне очень нравится.

М и ш к а

30.9.41

Здравствуй, Лиловочка! Если ты получила все мои письма за последние три дня, тебе и не захочется читать это. Но я боюсь, что немногие только доходят. От тебя все нет и нет писем, и я уже очень, не на шутку тревожусь. Где вы живете, есть ли у тебя работа, я ведь ничего не знаю.

Вчера получил от Маши ¹ посылку и письмецо, она тоже о тебе ничего не знает. Ох, и вкусная посылочка! Изюм, и шоколад, и ириски, и эта бумага, и другие сорта бумаги, и табак, и папиросы. Вечером пришел ко мне Вильям-Вильмонт, сосед мой по землянке спал, а мы до поздней ночи топили, ели вкусное и разговаривали о Пастернаке; он много рассказывал интересного, очень путано и неорганизованно, стихов он не помнит совсем, а с Пастернаком был очень дружен в прежние годы. Чудный вечер получился, совсем неожиданно. Я все эти дни имел время для себя и работал над стихами, кажется, можно будет кое-что издать в сборничке вместе с Стрельченко и еще одним-двумя². Я просил Стрельченко отобрать строго, самое лучшее. Видала ты в «Огоньке» стихи Пастернака, военные?³ Меня они огорчили и обрадовали: хоть и плохие, а все-таки начало, значит, будут и хорошие.

Наш военком собирал писателей «на чашку чая». И, правда, был сладкий чай, и даже печенье! Собрались, кто уже на положении командиров, кто — на положении рядовых бойцов; у всех мечта — попасть

* Это кольцо, к которому прикреплен ремень. (Прим. М. А. Гершензона).

во фронтовую газету; но об этом говорить не приходилось, так как командование не может отпустить нас. <...> Я говорил, что мне нужно быть с людьми, а не с бумажками, и, думаю, комиссар так или иначе пойдет мне навстречу. Я еще день-другой поработаю над стихами, кончу и начну колесить с разведкой, с разными подразделениями, чтобы видеть побольше людей. Комиссар у нас отличный, обещает даже помочь в перепечатке написанного. Кое-кто уже начал писать, хотя и немногие. Либединский написал листа два очерков о походе⁴; драматург Тригер пишет забавную комедию об ополченцах. <...>

¹ Мария Григорьевна Шестопап, преподаватель математики, друг семьи Гершензона.

² Речь идет о сборнике стихов М. Гершензона, А. Миниха-Маслова и В. Стрельченко. Осуществить издание сборника во фронтовых условиях не удалось.

³ Стихи Б. Пастернака «Страшная сказка» и «Застава» напечатаны в журнале «Огонек», 1941, № 29.

⁴ Этот очерк под названием «Ополченцы в походе. (Из дневника 1941 г.)» см. в кн.: Ю. Н. Л и б е д и н с к и й. Связь времен. М., «Сов. писатель», 1962.

Далее в письмах наступает перерыв до начала ноября. В первых числах октября в результате прорыва нашей обороны полк, в котором служил Гершензон, попал в окружение. См. воспоминания об этом периоде «Семнадцать дней», помещенные ниже. Они были записаны в июне 1942 г. (см. письмо от 13 июня 1942 г.).

Из записной книжки

СЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ

Много лет назад я был болен сыпным тифом и лежал в бреду. Этот бред я помню сейчас, очень ярко, как помнится детство: без переходов и без последовательности. Отдельные картины, куски жизни. Почему-то я жил в водолазном колоколе, с моим хорошим другом, подводником Гавриловым, — и только в бреду я понял, что он мне друг. Это была странная жизнь, без звуков, под водой, мы курили папиросы и влюблены были в разных девушек, но думали вместе, как об одной. Еще меня послали на партийную работу в Америку, и ужас был в том, что я работал среди негров, а они были все для меня на одно лицо. Я напрасно всматривался в эти курчавые головы, — как было мне отличить честного человека от предателя? Холодный пот обдавал меня, я рвался обратно, в родную страну. На этот бред наплывал другой: я еду в автобусе, но этот автобус — простая изба, а публика не знает этого, и пассажиры входят на остановках. А выйти из дома нельзя, он все едет и едет по Садовому кольцу...

Это — длинные, незабываемые, смешные и страшные куски жизни, стасованные, как карты, и прожитые одновременно.

Так вспоминаются эти 17 дней, со 2 октября по 19-е.

Над лесом, где мы стояли, колесом шли самолеты. Все изменено, ото всюду стоны и крики раненых, повозки с вещами. К одной повозке подошел, в ней — комья земли, набросанные миной, рулон материи для полотенец, мешок с обожженным, сразу подгоревшим мясом. Санитарные машины стоят и воют, — шоферы убежали. Палатка Военторга — много отличной бумаги, папки, карандаши.

От нашего обоза осталось уже только две повозки. Живем: я, Маслов-Миних, Клягин, Дорфман, откуда-то пришел улыбающийся нервной улыбкой Секар. Маслов счастлив тем, что у него есть еще полкоробки

черного кофе и несколько конфет из посылки, присланной Союзом. Клягин нервничает <...>. Я уговорил его отдать бойцам две бочки сала. Откупорили одну — берите. Сперва брали ложкой; когда я пришел через час, гребли саперной лопаткой по шлемам. Два мешка воблы расхватали — кто украдкой, кто требуя. Я говорю Клягину — все равно, бросим. Командование повозками перешло к Дорфману. Маленький, верткий, в очках, с острой бородой. У кого-то отобрал цейссовский бинокль, и очень рад был ему.

По непонятной причине в лесу начинается паника. Все решают переходить в другой лес, бросив повозки. В это время я жарил галушки: сало было еще, была и мука. Я замесил их в судке для стерилизации инструментов, взятом рядом в пустой санитарной машине. Еще с нами был Петров, художник из дивизионной газеты. На костре вскипятил сало, бросаю туда клецки. Все в нетерпении, каждый съест пару и ждет, пока снова придет его очередь.

Вдруг — паника и решение переходить, бросив повозки. Я говорю: «Тогда нужно взять кое-что из вещей».

Мой рюкзак пропал уже. На повозке — чей-то, беру. Смотрю, что в нем, выбрасываю лишнее. В котелок насыпаю муки и кладу комок сала.

— Постоите, переоденем белье, чтобы лишнего не тащить!

Переодел рубаху, наши уже бегут, уже далеко. Не стал менять кальсоны, — закинул мешок за плечи, догоняю наших, кричу: «Куда вы? Почему бежите? Идемте спокойно!» Догоняю. Миних, с выпученными глазами, весь красный, в обеих руках тащит стерилизатор с тестом. Все свои вещи бросил там, на повозке.

— Куда тебе это тесто?

— А, я не заметил.

Бросает судок в кусты. Ему говоришь — налево, он поворачивает направо. «Я тебя поколочу, если не пойдешь правильно. Дай сюда руку!» Я вел его, как маленького ребенка. На одной руке у него была легкая царापина миной, рука вздулась, как у слона.

На опушке записывали командиров, дали каждому — кому роту, кому взвод; мне взвод. Больше я Миниха не видел.

Это было 11 октября. Решено прорываться с боем.

2 октября¹ комиссар полка Катулин созвал на совещание почти всех писателей полка — около 45 человек. Мне очень хотелось быть на этом собрании, но я послан был в 1 батальон отбирать бойцов на какие-то курсы. Работа шла к концу, когда позвонил полковник: «До особого распоряжения отставить подбор людей. Отпустить на вечер Кунина». Я вернулся домой. На вечере были товарищи, которых я давно не видел, и жены Кунина и Росина, — они привезли посылки всем писателям от Союза писателей. Жена Кунина видела его только полчаса, он ушел куда-то с батальоном.

Я опоздал — без меня Тригер прочитал талантливое начало пьесы об ополчении. Там выведен был Вильям-Вильмонт; толстый, поблескивая очками и заикаясь, Вильмонт шуливо возмущался тем, что автор убил его. Но доктор Тригер успокоил его, — он оживет в последнем акте. Очень едко нарисована была фигура неприспособленного к жизни сибарита Росина.

Все говорили, что ополчение дало много материала; даже Росин и Жаткин <...> уверяли, что совершенно удовлетворены своей работой с баней и вошебойкой. Я говорил о том, что нам нужен фронт, мы ничего не видим. Я, например, сидел в канцелярии штаба, среди бесцветных людей. Комиссар должен помочь нам, чтобы мы видели больше.

После совещания (мы со Стрельченко и Минином на нем взяли обязательство к пятому сдать Катулину сборник стихов) я решил сразу использовать обещание Катулина. Начиналась какая-то крупная военная игра (или всерьез?), я попросил у Катулина разрешения остаться на обсуждении ее. Он мне дал склеить карту, очень торопил, я клеил ее с Лещинером. Я продежурил всю ночь возле Катулина. Тут же спали жены Кунина и Росина и Аргутинская. Утром я видел Стрельченко, Секара, Кандыбу, Миниха. Сборник стихов был готов, задержка была только за Минином.

Все началось непонятно и странно, как все на войне. Я полагал, что идут маневры — переброска наших частей. Мне Катулин дал задание (это было, кажется, 4-го) привести срочно нашу 4 роту в Дорогобуж, на Матросскую Слободу, и там ждать распоряжений. Полк, как и вся армия, передвигался на фронт, но об этом еще мы не знали. Перебросок, срочных тревог у нас было много, мы привыкли. К этому времени почти все уже уехали. Погрузилась первой штабная машина, я должен был ехать с ней, когда получил поручение. Ушла и вторая машина — на ней машинистка, которая все волновалась, что не берут ее матрац. Ее убило первым снарядом. Одним из первых был убит и Тригер.

Я не знал еще, что для нас началась война. Я пришел в расположение 4 роты, искал его долго. Какие там были землянки! Все — в соломенных матах, солнце падало в окошечко, закатное, красное, и землянки горели, словно обитые пучками солнечных лучей. Собрались быстро, дружно. Я заставил еще политрука повести меня по всем взводам и сам посмотрел, не забыли ли чего. Это отняло часа два. В то время мы не знали еще о прорыве немцев, о том, что несколькими часами позже они заняли уже эту территорию. Мы приехали в Дорогобуж (я — на машине, груженной военным имуществом роты), разместились и стали ждать Катулина.

Почему-то здесь очутился и Б., — он наслаждался жизнью, своим умением устраиваться, без конца рассказывал анекдоты и истории, между прочим — о золотоискателях, с которыми жил где-то в юности. Блестящий, талантливый враль. А Катулина нет и нет.

Откуда-то пришло известие, что полк введен был 4-го в бой, не успел занять оборону и разбит. Полковник убит, комиссар, кажется, спасся. Появился ПНШ-2² Ульянов — я уговорил его взять меня с собой в разведку, искать Катулина.

Из деревни в деревню — навстречу волне отступающих машин, бегущего населения. Девчурка тащит свою куклу. Где-то горят деревни.

А где, когда это было, что весь обоз наш — 50 повозок — куда-то вел Ткаченко, на дивном жеребце, и сбился с дороги, и чуть не привел нас к немцам — со всех сторон полыхало уже небо, когда мы повернули назад! Не помню, не помню.

Вот и скрип и ржанье на дорогах. А как приятно, что мы едем с Ульяновым и частью взвода разведки вперед, а не назад! Так хорошо, что впереди — опасность.

Вдруг в какой-то деревне нас останавливают уполномоченные по переднему краю обороны. «Дальше нельзя, в полутора километрах — немцы. Ройте окопы вот здесь и здесь, на этом холме. Искать комиссара не пустим. Ждем наступления оттуда».

Я взял лопату у шофера и быстро вырыл окоп «с колена». Другие работали саперными лопатками. Некоторые еще не начали, только сдирают дерн. Вдруг появился лейтенант, который был с Катулиным, — в мокрой шинели, зуб на зуб не попадает, румянец — будто жар. «Комиссар спасся с 16-ю, в том числе — Аргутинская и я. Переплыли реку. Он дал мне свой дальнейший маршрут».



РАЗРУШЕННАЯ

Фотография М. Берковича,

Литературный музей,

Нас отпустили с края обороны, мы стали ездить из села в село — здесь впереди немцы, и здесь, и здесь. Вернулись ни с чем.

Куда я ехал снова — не помню, но вдруг — в Семлево, кажется, — увидел Катулина. Обросший, неузнаваемо оплывший. Сюда пригнать обоз, и побыстрей, он будет ждать.

Я еду с тремя повозками, на моей — упаковщик Солнцев, хороший человек, и товарищ, и член партии. Немецкие самолеты начали косить дорогу из пулеметов. Солнцев и другие возницы кидаются в лес. Я держу лошадь под уздцы. У какого-то овражка Солнцев, напуганный добела, говорит: лошади не кормлены, я не обедал, сейчас буду варить картошку. (Я все глодал капусту и все еще думал, что она чья-то, странно было взять кочан и разрезать кухонное добро.) Начинает чистить картошку. Я угосвариваю, приказываю — нужно спешить к комиссару.

— Не поеду, — на, стреляй.

— Ну, смотри, тебе это так не пройдет.

Не помню, где собрался весь обоз. Мы тронулись, я опять на повозке Солнцева, ни слова о соре. наших повозок много — штук 50.

Обоз идет к Вязьме. Ночью, измученный, я сплю, закутавшись в плащ-палатку. Вдруг — пьяный крик: живые — направо, повозки — налево. Меня кто-то дернул с повозки, без вещевого мешка, без сумки, без противогаза. У соседней повозки слышно — кто-то возразил — хрясь по морде, — ррасстреляю, мать... Уполномоченные, пьяные вдребезги. Сразу отводят в глубокую щель. Народ не ел — кто два, кто три дня. «Есть тут командиры?» — «Я». — Нам дали винтовки — всем — указали место, где рыть окопы. «Передайте начальнику, мне нужно выполнить приказание комиссара...» — «Делайте, что вам велят». Окопы в идиотском месте: у дороги, их огибает объезд, по обе стороны — табуны машин, орудий, повозок, ничего не видно. Я проспал всю ночь... Утром рано...

С тяжелым сердцем, едва передвигая ноги, я шагал, шагал, шагал, догоняя свой обоз.

Сколько событий, которые я не знаю, куда поставить!

Когда это было, что я шел с несколькими нашими повозками, и был там белобородый противный старик, который не хотел накормить меня и Копаева потому, что в повозке были только продукты, за которые собрали деньги для Военторга, — а мы к этому не имели отношения? Он



ВЯЗЬМА

март 1943 г.

Москва

не мог понять, что собирали деньги до нашего вступления в войну и что многие из наших уже убиты. Мы варили картошку, я съел, наверно, полкотла. Но я все еще был голоден.

А куда это я взялся съездить с донесением к комиссару на великолепном жеребце? Я взял его у Ульянова, но не смог переехать через мост — навстречу танки, грузовики, он прыгал, вставал на дыбы, мотнул головой, чуть не выбив мне зубы. Так стыдно было вернуться, не исполнив поручения. И где это мы отстали со Стрельченко, догоняли, то вперед, то назад, в многослойной ленте грузовиков, повозок, пехоты? Потом нашли своих, а потом я потерялся сам. И так и не нашел колонну, а нашел только две или три повозки.

К Вязьме, к Вязьме, а ноги не несут уже. Я совсем не вспоминал про еду — сколько дней? Километрах в семи от Вязьмы встречаю три подводы. Дорфман, Клягин, кажется, художник из газеты Петров, кто-то еще. Они возвращаются, их не пустили в Вязьму. Вернее: Дорфман узнал, что уже не пускают, всех сажают на край обороны, — и он очень гордился, что «вовремя» повернул назад.

Мимо санитарная карета — к Вязьме, из нее высунулось бледное, окровавленное слегка лицо Злобина. — «Миша!» — Помахал рукой. На его лице была гордость: «Я ранен», и счастье: «Я жив». Больше я его не видел, не знаю, проскочили они Вязьму или нет³.

И вот, мы где-то в лесу, то здесь, то там, — а над нами воют немецкие самолеты. В лесу много крови и брошенных вещей. Очень много убитых. Где-то мы еще проезжали через горящие деревни. В одной — я помню — обожженная лошадь ногами кверху, как куропатка. Разбросаны листки, тетради, книги. «Бои на Карельском перешейке» — не наша ли ротная? В ней список дежурств по взводу — фамилии Глинки, еще других товарищей. А деревня смешана в кашу.

Вот аптечка — набор хирургических инструментов. Я выбросил (шприц) «Рекорд», собрал в коробочку крошки табаку. Через час потерял коробочку. Где-то подобрал сумочку, несколько нужных вещей; на другой день потерял и ее.

Кто жив из товарищей?

Чемодан, все вывалилось из него. Беру две шпалы, прикальваю. Это нужно: многие снимали знаки различия.

У меня на душе тяжесть — я иду в штаб, — я командир, дайте мне дело.

Никогда еще я не был в землянках: я пришел в штаб ночью, все скажочно, темно, расположение непонятно. Везде — щели, люди жгут маленькие костры, греют руки. Одну ночь я тоже так ночевал, потеряв товарищей.

На десять шагов отойду от штаба — его невозможно найти. И почти галлюцинации (мне сейчас мешают описывать это взрывы, саперы работают здесь в Долгом, но никто не знал, что будут взрывы — все стекла вылетели, старший политрук, работающий в соседней комнате, кинулся бежать. Комья земли долго висят в воздухе, и хотя знаешь, что это просто работа — при каждом взрыве слабость под коленками, и смешно, как нервная система реагирует сама по себе). Галлюцинации: будто рядом со штабом — пляж, — я прогуливаюсь по просеке, как по берегу, по просеке или по опушке, а ночь лунная, и никто не знает, где штаб. Наконец, нахожу. Мне дают комендантский взвод, а в штабе странные люди, старший — какой-то майор, и еще есть начальник разведки, который, кажется, знает эти места. Милый лейтенантик указывает мне, где собирать людей, — но я уже путаю, это было дважды в разных местах, в одном я мучительно хотел пить, я записывал всех, кто ко мне подойдет, не мог пойти за водой, а мне так и не принесли кипяточку.

Наверно, на другой день я занял с бойцами оборону. Люди в окопах лежат, как трупы, — серые лица, спят. Сидим на опушке. Паника, бегство, шоферы бросают машины, бегут пешком. Санитарные машины воют: раненые без помощи. Непрерывная бомбежка. Мне надоело лазить в щель. После бомбежки зачем-то спустился в щель — в ней на том месте, где был бы я, большой осколок. Даже форму его помню. Где наши? Я опять не знаю. Как-то, мимолетно, увидел Секара, обещал узнать положение и прийти. Нашего самолета за все время — ни одного, командиров совсем не видно.

Ко мне приходят бойцы: «Штаб уже убежал». Не верю. Еще час — бойцы исчезают, осталось двое. Идем в штаб. Нет штаба — убежал. Утром я встречаю того лейтенантика, что разговаривал со мной у штаба. Создан новый штаб. Старому не удалось уйти — напоролся на немцев. Сам лейтенант два раза ходил в разведку, — безнадежно, не уйти, сплошное кольцо огня.

Новый штаб решил — идти на массовый прорыв, в северо-восточном направлении. Сегодня. Завтра уже будет поздно, — кольцо огня с каждым часом сильнее. Это было 11 октября.

Опять я не помню, где это было. Горела деревня, немцы бомбили, валялись обгорелые трупы. На крутом склоне — повозка, возница с разорванной грудью, красавец-блондин, волгарь. Я подумал — то ли убит осколком? то ли лошадь понесла и разбила его на спуске? Дорфман и Клягин бегут куда-то. Я догоняю сорвавшуюся на целину повозку, беру лошадей под уздцы, веду на горку, к единственному не горящему сараю, где Дорфман и Клягин и Петров. Вдруг замечаю, что одна лошадь валится. Захожу с ее стороны — у нее большая рана на боку — я и не заметил, когда угодил в нее осколок. Она издыхает. Но лошадей кругом много, вместо вороной припрягли гнедую.

И еще я не помню, как и когда встретил Кандыбу. Наши повозки были уже брошены. Нет, они стояли за леском, там я скатил бочку с гуселином и оставил ее бойцам — разбирайте. Мы сидим с Дорфманом

и Клягиным и Минихом — когда он нашелся? — на обломках ящиков от посылок: здесь была какая-то ППС ⁴, и вдруг — много писем. Я прочитал одно, писала какая-то девочка Таня, такое хорошее что-то, — я спрятал его в карман, но, конечно, не знаю, когда потерял. У нас было несколько больших банок бобов с салом, но когда мы съели одну, оказалось, что десять за это время расхватали. Я ходил за второю и тут встретил Кандыбу.

— Нет, я не ранен, но что-то сделалось у меня с головой, я ничего не понимаю. Мы ходили на прорыв, рядом разорвалась мина, меня завалило землей.

Когда собрались идти на прорыв, он мне отдал винтовку:

— Я не могу, я не смогу стрелять, у меня что-то сделалось с головой. Я поеду кучером, ведь будут идти повозки.

Я видел, как он сел на повозку и взял в руки вожжи, — и больше не видел этого дорогого добряка, зайку, любителя покушать, чудесного товарища.

Наконец, будет прорыв: дело, действие. Установка, данная неизвестно кем: вывести живую силу. Потом только стало известно, что тут окружены были шесть армий. Что мы видели? Разобщенные группы, каждая с недоверием и недоброжелательством относится к другим.

Посмотрев на шпалу, какой-то подполковник сказал мне:

— Вы будете командовать ротой. Соберите ее.

— Где она?

— В лесу много народа.

Я слоняюсь по лесу, сумерки. Секар и Миних будут политруками. Миних! Бестолковый, с опухшей рукой, большое дитя, потерявшее голову от страха.

Дорфман и Клягин — по хозяйственной части — добывают брошенное где-то оружие. Уже началась наша артиллерийская подготовка. Я встречаю в лесу того самого лейтенантика. — «На массовый прорыв я не пойду, это верная гибель. Я два раза ходил в разведку, знаю, что нас ждет. Я решил пройти лесами, с группой в два-три человека». Уговариваю его; нет и нет. Между тем другие уже подобрали какие-то сформированные части. У меня записан десяток фамилий, но люди разбегаются. — «Вы не строевик?» — спрашивает меня подполковник. — «Переводчик». — «Будете командовать взводом». — Кое-как я подобрал взвод. Уже стемнело, лиц не вижу, имен не знаю. Одного приметил — высокий, монгольский тип лица.

— Вы знаете товарищей, которые с вами?

— Знаю.

— Так не отходите от меня и смотрите, чтобы люди не улизнули в лес.

Мы стоим на снежной поляне, три батальона. В небе — ракеты, трассирующие пули. Крики: «Санитара!» В атаке незаметен упавший товарищ. А так, под обстрелом, черным пятном стоять на белоснежной, залитой лунным светом поляне, — неприятно. И ноги у меня болят так, что я готов сесть на снег. У меня во взводе — две винтовки. Еще одну отдаю — Кандыбе, — мысль: ведь она! за ним записана, я обещал отдать ее ему после боя. Две гранаты я подобрал в этот день в машине. Кто умеет метать? Только один — отдаю ему одну, политруку, у которого почему-то нет револьвера, — второю. Револьвер сжимаю в руках.

На мне — мой ватник, шинель, в сумке, которую я подобрал тут же, — она и сейчас со мной, — плащ-палатка, котелок; я высыпал из него почти всю муку, оставил горсть, чтобы было легче. Задержка — час, два: вперед пошла разведка. Потом — 1 батальон, потом — наш — 2-й.

Пошли. Рассредоточились. Построение — уступами, строй — плохой. Я все иду в темноте высокого, башкира, что ли.

Теперь — одни куски и пятна. Ничего не помню подряд. Я вел второй взвод, — вдруг оказалось, что он исчез, со мной — третий, и мой башкир. Потом исчез башкир. Я забыл о том, что болят ноги, совсем забыл и не вспоминал ни разу 8—10 часов, до конца боя.

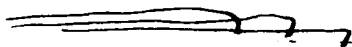
Фейерверк пуль, перелески, полянки, лоцинки, небо розовое от огня, от зарев пожаров, грохот стрельбы. Я шагаю быстро, не пригибаясь. Воодушевление, радостное волнение — прорыв! Говорили, что с боем нужно идти километров 10; но шли много больше. Где северо-восток, не знаю. Далеко впереди слышно глухое «ура». Иду на звук.

Поляна, перекрестный огонь с танков, как занавес. Люди припадают к земле. Я стою. «Идемте!» Один подскакивает ко мне с наганом. — «Куда ведешь? Продай!» — «На северо-восток веду. Слышишь, кричат ура!» Его надо было пристрелить. Но я не был уверен, где северо-восток. — «Не хочешь идти, боишься, — оставайся, — нужно идти, нельзя здесь задерживаться ни на минуту. Идемте!»

Мне надо было заставить их идти, но я имел одно средство — не пригибаться.

С дерева в трех-пяти метрах фонтаном били пули, — кукушка. Это было несколькими минутами раньше. Я выстрелил в темные ветви раз, — пули продолжают литься. Тот же, кто потом крикнул: «Продай!» — крикнул: «Не бей, по своим стреляешь!» Я выстрелил снова — дерево смолкло; убил я кукушку? Не знаю, но хочется думать, что убил.

Я шел вперед, слово «продай» звенело у меня в ушах. Они должны видеть, что я уверен, что они пойдут за мной. Оглянулся шагах в 30 — никого. Я пошел дальше — прямо, не пригибаясь. Сейчас кажется невозможным — пройти через этот огонь и не наткнуться ни на одну пулю. А зрелище было великолепно. Ими нельзя не любоваться — этими светляками, ожерельями, очередями, постепенно, вот так



зарывающимися в землю светляками, ракетами. Прилег на минутку в лоцинке, прижатый огнем, слушал — где «ура»? Не слышно. Еще полежал. «Ура!» Пошел дальше. В лоцине — группа, люди хотят идти, лейтенант боится. «Идемте со мной», — пошли. Потом исчезли и эти.

У большого дерева я наткнулся на группу, человек 70, и среди них наш инженер Лещинер: он остался в районе полка, чтобы сдать нашей смене минные поля. Они прорываются на юг и даже не знают о массовом прорыве. Прорываются вторые сутки, пережидают в лоцине огонь. Обещают, что сейчас пойдут на северо-восток. — «Так идемте!» Остались, я снова один. То теряю «ура», то нахожу снова.

Две фигуры вынырнули из темноты. Я так уверен был, что это немцы, что крикнул по-немецки: «Halt! Hände hoch!» — и оба подняли руки. Я подошел к ним с взведенным курком. Красноармейцы! Я выmaterил их: разве поднимают красноармейцы руки, когда слышат немецкую речь?

Вот я — в группе с каким-то политруком, что ли, или комиссаром, — еще четверо, пятеро. Он бежит к горячей деревне — он был уже здесь, и знает, что нужна помощь. Речка. По ту сторону речки — немецкий грузовик с пулеметом, по эту — наш, со спаренной зениткой. Хлещут друг по другу. Но наш грузовик завяз на бугре. Светло, как днем, — деревня пылает. Немецкие пули бьют кругом, дырявят борта машины. Мы вытащили ее, я потом только сообразил, что застряла она не в грязи,

а в обмерзших трупах, — по ним осклизались мои ноги, когда я помогал вытаскивать грузовик. Я непременно хотел идти с этой группой, но она вдруг исчезла, как во сне, совсем, как во сне.

Потом — с другой группой, два-три человека, спокойно шли по опушке, здесь не было сильного огня. Под ветвями было темно. Как-то группа отстала. Я иду в темноте, и вдруг, совсем рядом, — розоватый, как леденец, огонек. И сразу я увидел куб густой темноты, — тяжелый немецкий танк, — и упал, прижался к земле, — в верхке надо мной прошла длинная очередь. Я лежу у куста. Сейчас танк двинется, раздавит. Я резко вскочил, сразу прыгнул в сторону, и в лес — очередь полетела мне вдогонку, прошла у колена. Несколько шагов по лесу — и я наткнулся на раненого лейтенанта. Мальчик, с воспаленным, детским, красивым лицом. Голова запрокинута, стонет. Пилотка свалилась, русский хохол волос. Из полевой сумки вывалилось несколько кусков сахара, — видно, он доставал их в бреду. Надо взять документы, — его тут непременно найдет немецкий танкист — потрогал сумку, хотел снять ремень, он застонал, я оставил сумку. Девушка — она была в той группе, которую я только что потерял, — санитарка — вдруг оказалась рядом. — «Я видела уже его, тяжелое ранение головы. Я послала в деревню за повозкой, но вряд ли он доживет». Это была явная нелепость: какая тут повозка, все деревни кругом горят.

Сквозь ветви я увидел: над танком взметнулся сноп искр, ухнуло что-то. Потом оказалось: это маленький политручок метнул гранату. Он догадался, что это — танк-наблюдатель, и сперва перерезал кабель. Потом метнул одну за другой три гранаты, они не взорвались. И, наконец, противотанковую, перешиб гусеницы, но стрелять танк мог. Откуда этот мальчик знал все это, действовал, как опытный воин? Я потерял его быстро, но потом встретился с ним, выходя из окружения. Это все — только маленькие эпизоды, которых было так много. Какую-то часть пути я шел с кавалеристами в черкесских бурках. Они шли очень смело, уверенно, — красота была смотреть на их квадратные плечи в лунном лесу. Освещение было сказочное, почему-то казалось, что мы все поднимаемся высоко в горы; кого-то, убитого, они узнали на дороге и очень взволновались; кажется, они были уже здесь раз и шли искать этого убитого. Они сели отдыхать, кругом был точно замок из розового камня: зарево неба, огня, луны, силуэты деревьев, сказка Шехерезады. Я снова потерял их, заблудившись между стволов. Я не обменялся с ними ни одним словом, настолько нереально было все это, — я был заморожен.

Крики «ура» становились громче, и теперь уже было видно: по снегу, в утренних сумерках, отовсюду в одном направлении двигались кучки — тысячи кучек — кричавшие «ура!» Вдруг я узнал рядом с собой того башкира, с которым начал путь, обрадовался ему, как другу.

— Есть еще кто из нашего взвода?

— Двоих я видел, не знаю, потерял. Недавно видел.

Все спрашивают: «Прорвали?» Никто не знает. Чем гуще собирался народ, тем дружнее крики «ура».

Но пули еще летят, и кто-то падает, а все стремятся вперед и кричат «ура». Уже давно день, и огонь стихает, а волны «ура» всё катятся, и никто не знает, прорвали уже или нет. Это тянется часами, я вдруг почувствовал, как страшно болят ноги. Где-то присел, народ — мимо, мимо, мимо. И все от радости палят в небо, я тоже.

Как прошел этот день — совсем не помню. С какой-то большой группой шли по лесам, осторожно, стараясь не шуметь. У меня было такое чувство, будто мы кружимся на месте без всякого смысла. Начальник отряда нервничал, боялся шума, велел снять шлемы, потому что ветки гремели по ним. В руках нести их было еще хуже, они звенели громче.

— Бросить шлемы! У кого звякнет — вон из колонны.

Я долго нес шлем, стараясь не звякнуть. Потом с огорчением положил шлем на землю. Страшно первое время было идти без него.

И ночью шли очень осторожно. Густой лес, темнота. Часто переходили речушки, измокли, обледенели. Остановка, тихая команда: «Разведка, вперед». Стоим — сколько? Без конца. Сплю стоя. «Шагом марш»...

На одной остановке я присел, кажется, на минутку. Открываю глаза — группы нет. Сколько я проспал? Потерять группу очень боюсь — при мне ни компаса, ни карты, я совсем не знаю, где наши, где немцы. Бегу вперед, всматриваюсь, щупаю следы на снегу. Назад. Опять вперед. Несколько спичек я сжег, разглядывая следы. По тому, с какой осторожностью шла колонна, я был уверен, что кругом — немцы. Куда идти? Я забился глубоко в лес. Мне было очень страшно. Ни секунды не испытывал я страха во время боя. Здесь же я ждал, что меня схватят, будут пытать. Я выбрал густой ельник, между тремя стволами растянул плащ-палатку и зажег очень маленький костер. Натопил снега, из моей муки слепил и сжарил одну маленькую лепешку. Жарил терпеливо, до румяного. Передвинул костер на новое место, завернулся в палатку и заснул. Утром долго сидел, глядя на небо. Где северо-восток? Все небо было в облаках, шел снег. С наганом в руке, со взведенным курком, осторожно я вышел на опушку. Напротив, через дорогу, в ветвях показалось мне что-то, похожее на человеческую фигуру. Тихонько я спрятался снова в лес. И каких кругов я ни делал, я все выходил на то же место. Вдруг я услышал: едет повозка. Стал за дерево. Ближе, ближе. Женщина с мальчиком!

— Тетушка, близко отсюда немцы?

— У нас не было еще, а вон там, километра четыре — они проезжали на танке.

— А наших бойцов, которые выходят из окружения, не видела?

— Ну, как же, — там, в * их полна деревня.

Это было шесть километров в сторону, или назад, но у меня не было выбора. Деревня полна была, но я еле добился, чтобы меня приняли в одну из групп: все боялись «чужих». <...>

Другая группа, с которой я шел. Тот самый маленький политручок. Несколько часов мы толклись на месте, уходя от немецких ракет. Откуда этот политрук знал, как важно уйти от них? Выходим на поляну. С трех сторон взвиваются ракеты. Снова в лес. И так — долго, долго. Бомбежка. — «За мной!» Я потерял его из виду. — «Сюда, сюда», — крикнул мне кто-то. Я бегу за ним. — «А где политрук, впереди?» — «А на кой нам он? Бежим в лес. Ну, беги, беги».

Вдруг я понял: это гад, который заманивает в лес, — выбивает командиров поодиночке. Но я это понял поздно, уже догоняя политручка. Надо было его застрелить немедленно. Опытки не хватило.

В этой группе нас было пять-шесть. Один — раненный, обессиленный. Нести невозможно. Решили оставить его в шалаше. Долго несли на палатке втроем. У меня совсем не было сил. Я каждый раз говорил: «Постойте, уроню». Он плакал. «Ничего, отсюда до деревни близко, кто-нибудь будет ехать». Наломали ему хворосту, оставили его — и это было горе.

С многими, с разными группами я шел. Ночевали в стогах, жутко было стоять в стороне от них на карауле. Несколько раз в деревнях нас кормили картошкой. Калина — ел ее, ел. Голод не чувствовался, чувст-

* Пропуск в подлиннике. — Ред.



«НА ПЕПЕЛИЩЕ»

Акварель В. С. Климашина. Центральный фронт (Смоленское направление), лето 1942 г.
Собрание В. Ф. Климашиной, Москва

вовалась смертельная слабость и такая боль в ногах, будто уже пяток нет, а ходишь на щиколотках: все стерто.

Да, о нашей 4 роте. Я вспомнил — она не пришла с нами в Дорогобуж. Ее перехватили на дороге и бросили на край обороны. Говорили, что она дралась героически и, кажется, вся полегла.

Несколько дней я выводил раненого политрука. У него прострелена была мякоть бедра. Восемь дней без перевязки, а кровь хлестала. Туповатый, но житейски хитрый парень. Сперва мы вели его с лейтенантом НКВД; вести было очень трудно, ноги не несли и так, а на ухабах он то и дело наваливался всей тяжестью. Сережа. Тропки узки, нужно было вести его по тропке, а самому скакать по ямам и валежнику. Злой от боли, он ругался: «Веди как следует!» — Он сразу начал называть меня Мишей. В одной деревне я снял с него кальсоны — заскорузлые корки. В четыре избы заходили — ни одна хозяйка не согласилась выстирать их. Оттерли, вывернули наизнанку, и он пошел дальше. Мне удалось под конец усадить его на сани комбата отряда «Красная звезда», — мужественного человека с раздробленной голенью. Это был кавалерист, в сани запряжен был его замечательный жеребец. Он не умел ходить в упряжке. То срывался и кидался в чащу, то останавливался и стоял под побоями, как вкопанный. Он пал, и пришлось посылать за ним и политруком лошадей из деревни.

Вестей не было никаких; в окружении были только немецкие листовки, наших не видели ни одной; говорили, что уже пала Москва, Ленинград, было жутко. Каким-то образом стало известно, что на Можайск идти нельзя. Повернули через Борисово. Чувство было такое, что кольцо сжимается, нельзя терять ни минуты. Но где-то, в Борисове, что ли, я сел и просидел без движения час, глядя на дорогу. Мне все казалось, что вот, прошла последняя группа. — «Если появится другая, подожду ее, а нет — нужно бежать, догонять эту». Но новые и новые группы

всё появлялись. С трудом передвигая ноги, я пошел. Мы увидели первый наш самолет, первый наш танк,— вся толпа кричала «ура». Вышли к шоссе где-то на 109 километре. Здесь нужно было ждать распоряжений— куда идти. Топчемся час, два. Я зашел в какую-то, видимо, в панике брошенную казарму,— на столе лежало две-три свеклы, нарезанные на куски. Я съел их с жадностью, обшарил все углы, но больше ничего не нашел. Тут встретил я бойца из моего взвода разведки. Он ничего не знал о судьбе других.

— А где твоя винтовка?

— У меня в бою взял ее Ульянов.

— Разве можно расставаться с винтовкой? Ты ведь теперь — как дезертир!

У него было больше сил, он зашагал вперед быстрее. Мне нужно было в Дорохово, за 25 (?) км. Я стал голосовать на шоссе, но машины летели, не останавливаясь. Вдруг одна пятитонка задержалась. Я взялся за борт, стал на колесо, машина двинулась, и я повис. — «Помогите!» Ноги бились о колесо. Бойцы схватили меня за руки, стали тащить, помяли грудь. Я свалился на дно грузовика — и вдруг почувствовал, что на мне нет нагана: его оттерло о борт. Я завыл, стал бить в кабину шофера, упал и от бессилия заплакал. Это был удар, самый страшный за все окружение. Подъем, который охватил, когда мы ступили на *нашу* землю, какие-то новые силы, последние нервы,— все исчезло. Я брел по Дорохову в полном, глубоком отчаянии. Шел дождь, палатка была натянута на нос, темно. Как узнал меня Корабельников? — «Гершензон!»

Через два дома была редакция «Уничтожим врага». Меня там обласкали, согрели,— Альтман, жена его, Арина,— и наши, наши: Катулин, обросший, с палочкой, слабенький Кушниров, Аргутинская. Все рассказывали, ели, ели картошку с солью, все горевали о полковнике Васенине. Вдруг свалился и он — в деревенском пиджачке, голубой косоворотке и страшной папахе. Он переплывал под обстрелом реку, завернул все регалии в плащ-палатку, ее вырвало у него течением...

В эту ночь мы лежали в пустой, нетопленной сапожной мастерской. У меня была шинель, у Васенина — нет, я слышал — ворочается, ворочается.

— Товарищ полковник, может, ляжем вместе, теплой будет?

— Во, давай, давай.

Мы прижались друг к другу, и так приятно было согреть его своим теплом. Он мне что-то рассказывал — как ночевал в одном доме с немецкими офицерами, как спас его спутник-улоновец своей справкой⁵, как он видел — пленные вырыли для себя яму, и в лесу раздались три выстрела... Я был слишком слаб, чтобы слушать. А в мозгу — наган, наган, наган.

Он где-то здесь, полковник Васенин, командует укрепрайоном. Хороший, простой человек. Однажды, заметив у одного бойца грязные руки, он пошел, вымыл ему одну руку и показал перед строем:

— Вот какой он может быть, если будет мыться.

Придешь к нему. — «Ну, садись, пей чай». — «Я пил, товарищ полковник». — «Я тебе командир или не командир?» — окая, скажет. — «Пей чай, так твою так, когда командир приказывает».

Когда мы вошли в освобожденное Дорохово, я долго искал место, где стояла редакция. И так и не нашел его на пепелище.

¹ Дата указана ошибочно. О совещании см. в письме от 30 сентября 1941 г.

² ПНШ-2 — помощник начальника штаба полка по разведке.

³ О дальнейшей судьбе С. П. Злобина см. ниже, в публикации его записных книжек.

⁴ ППС — полевая почтовая станция.

⁵ Речь идет о справке, выдававшейся Управлением лагерей особого назначения (УЛОН) заключенным при их освобождении для отправки на фронт.

1 ноября (1941)

Лиленька, несколько дней не писал тебе, верно, от безнадежности — все равно ты верно не получила письма, а я наверно не получу ответа. Может, это и не так, но столько я писем послал уже «в никуда», не получив ответа — не по твоей вине, конечно. И вообще, эти дни у меня плохие. Совсем замучила солдатская болезнь — понос. Ноги тоже продолжают сильно болеть, хотя понемножку проходят. Скверно еще, что совсем нет товарищей, все новые люди. На всякий случай надо написать тебе, о чем писал в прошлом письме ¹. Я (и весь полк) попал в окружение, выходили с боем, под жестоким обстрелом. Потом — лесами. Сейчас полка моего нет, и я работаю переводчиком при штабе армии ². Это очень коротко, но эти недели — с 4 октября — тяжело легли на плечи. У меня такое чувство, что я старше стал, столько нового опыта прибавилось. Я даже боюсь думать о нашей встрече — я, наверное, покажусь тебе старым-старым. Может, потому, что я не видел еще, что такое победа, но во всех видах видел, что значит поражение, из чего оно складывается. Это очень грустно.

Вот, развел нюни. Сижу на ночном дежурстве, это мое любимое время, а вместо того, чтобы написать путное письмо, скулю.

Ну, прости, Лилюшка, я ведь очень давно вообще не скулил.

Я очень близко от Москвы, но в Москву съездить мне нельзя, не отпустят, — а так хотелось бы! Ведь, наверно, Машенька имела от тебя какие-нибудь вести. Впрочем, может быть, и Маши нет в Москве. Да и просто очень хочется посмотреть, как выглядит сейчас Москва. Говорят, ощерилась вся, замечательно приготовилась к обороне.

Два дня некогда было кончить письмо. Сейчас продолжаю. Сегодня я что-то повеселел: фронт держится хорошо, дороги развезло, это нам на руку.

Целыми днями сижу над немецкими письмами. Лиленька, что за страшная вещь — сентиментальные варвары! К вечеру от всех этих «сладких любвей», поцелуев, «пакетиков» с лакомствами, голубков, альбомных стишков, засушенных цветочков, эдельвейсов и прочей дряни — к вечеру просто мыло во рту. Характерная вещь: в целях рекламы к каждому коробку папирос прилагается талончик на премию, с номером. Если собрать несколько полных серий — получаешь в премию «картину». И вот, на фронт идут тысячи «пакетиков» папирос, а обратно — во всех письмах — эти талончики. Груды талончиков, — чтобы дома повесили на стену еще одну дрянь. При внешнем культурном лоске — поражает полная пустота, отсутствие каких бы то ни было мыслей у пишущих. <...>

Перед окружением я послал вам сразу, за одну неделю, писем пять со стихами; наверно, все пропали, — попали к немцам, и там какой-нибудь негодяй над ними издевался? Ничего, я такие послал стихи, что ему они не доставили удовольствия, отнюдь. Если получу ответное письмо, перепишу все стихи сразу и pošлю тебе, Лилюшка, на сохранение, — мне жалко будет, если они пропадут у меня. А я уже так привык, что вещи не держатся на войне!.. За одну неделю у меня три раза сменялся и вещевой мешок и все вещи в нем. Но записная книжка была в кармане и сохранилась. Правда, я ничего не записываю и не пишу уже месяц — слишком много было всего, и ничего не выразят записи. Может, уляжется, тогда.

Ну, пишите скорей: Полевая почтовая станция 388, политотдел, мне. Будьте мне здоровеньки, чёртики мои!

Привет Чернякам³.

М и ш а

¹ Письмо, о котором упоминает М. А. Гершензон, не было получено адресатом.

² При штабе 5 армии.

³ Яков Захарович Черняк (1898—1955) — историк литературы, исследователь жизни и деятельности Герцена и Огарева; Я. З. Черняк и его жена Елизавета Борисовна — друзья семьи Гершензона.

17 ноября <1941 г.>

Лилочка, сидел, писал стихи, не получилось, и вдруг так захотелось к тебе. Я как-то последнее время гоню от себя мысль о вас, создал искусственное равновесие и держусь за него, иначе очень трудно. Ведь у меня уже так давно нет вестей, чувствую себя безнадежно далеко. И как-то уже привык, что писать бессмысленно — как в межпланетное пространство; кажется, почти все равно — отправить тебе письмо или сжечь. Вернее всего, что почта все-таки работает, и я все же на днях получу от тебя письмо, — тогда это чувство пройдет.

В Москву еще не удалось съездить, и когда удастся, не знаю. Меня до сих пор оформляют здесь, уже месяц, а без командировки не поедешь, хотя пути — два часа на машине.

Работа интересная. Опросы пленных — отличная практика, я начал гораздо свободней говорить по-немецки. А главное — после опроса всегда лучше настроение: каждый раз убеждаешься, какая жалкая, тупая, вшивая, обмерзшая армия у Гитлера. Они все, без исключения, мечтают о конце войны, не хотят воевать, не знают, за что воюют. А ведь это — центральное направление! Когда с ними поговоришь — такая полная уверенность, что стоит стукнуть морозам, чтобы они начали партиями сдаваться в плен. Сегодня я опрашивал двоих, которые были контужены, наскочив с машиной на мину, и, хотя отлично могли убежать, предпочли дожидаться красноармейцев; и с третьим, который после нескольких слов согласился написать письмо — призыв к товарищам сдаваться в плен. Очень интересно: никто из них не читал <книги> «Моя борьба». И классиков немецкой литературы тоже не знают, даже понаслышке. Всё, что они читали, — это любовные романы, бульварщина.

Понемножку я начинаю писать. Написал два стихотворения, которые пошлю тебе¹. Показать их, посоветоваться — совершенно не с кем.

Очень тяготит, что я ничего не знаю о судьбе товарищей по полку — кто жив, кто погиб. Особенно тревожно за Стрельченко, мы с ним очень сдружились. Кунин цел, вместе с комиссаром полка поехал в Горький. Я совсем переменяю мнение об его жене — она отлично вела себя, приехав на фронт с подарками. Не знаю, вышла ли она из окружения.

Что написать тебе о себе? Я сыт, хорошо питаюсь, тепло одет, даже сплю на кровати, не раздеваясь, конечно, но без сапог. Ноги у меня почти зажили за этот месяц. Сентиментальность у меня вытравлена до основания немецкими письмами, всеми этими «süsse Küsse und Grüsse»*. Так что ты не обижайся, если письма мои стали сухими, как вобла. Я по-прежнему каждый свой шаг проверяю твоей оценкой.

О бое, об окружении я все еще не могу написать ни строчки. И не записываю ничего. А детали, конечно, сотрутсЯ. Но не могу себя заставить, слишком все кровоточит еще. И мне все кажется, что я изменился очень, внутренне, и никогда тебе не буду нужен. Ну, это уж я начал скучить, от одиночества.

Сколько смешного о немецком мещанстве я смогу когда-нибудь тебе рассказать и показать! <...>

* «сладкими поцелуями и приветами» (нем.).

РЫЖИК

Эта ель стояла на опушке,
Автоматчик на ней куковал,
И пули фашиста-кукушки
Убивали всегда наповал.

На тропинке лежал пулеметчик,
В пулемет уткнувшись лицом.
Рядом — мальчик, кровавый комочек, —
Он, наверно, бежал за бойцом.

К этой ели, мохнатой и грозной,
Подползали мы не дыша.
Он заметил, но было поздно:
Застрочил уже мой ППШ.

И прицел оказался точен:
Автоматчик откуковал;
Быстрой очередью прострочен,
Он свалился, убит наповал.

Щерит зубы в кривом оскале,
Белобрысый, длинный, как жердь.
Мы, конечно, его обыскали.
Тьфу! Собаке — собачья смерть.

И молитвенник здесь и четки,
Алюминевые образки.
Письма — почерк косой и нечеткий,
Сразу видно — женской руки.

Вдруг листки отворила тетрадка,
И упала мне на ладонь
Шелковистых волосиков прядка, —
Детский локон, пушистый огонь.

— Ты мой Рыжик, мой маленький Рыжик,
Я послал бы тебе леденцов,
И красивых, с картинками, книжек
Про бесстрашных советских бойцов.

Твой отец был убийцей. Ну, что же!
Он к тебе не вернется вовек.
Вырастай на него непохожим,
Рыжий маленький Человек!

¹ В этом письме было прислано только одно стихотворение — «Рыжик».

20.12.41

Здравствуйте, мои родненькие! Уже поздно, ночь, все товарищи спят. Я кончил работать, устали глаза разбирать немецкие почерки. Наверно, тысячу писем просмотрел. Мы наступаем, а это значит, что меня заваливает грудями захваченных материалов. Много интересного в письмах. Например, попались сведения о наших пленных в Германии, — очень страшные вещи. В одном письме пишут, что их морят голодом, они питаются полевыми мышами и свеклой; в другом: «К нам пригнали для работы на фабрике русских; это все молодые парни, самому старшему 22 года. Они истощены до того, что ноги у них не толще руки старика». Есть письма о том, что наши пленные вырвались из лагерей (в двух местах) и навели страх на всю округу, — настолько, что немцы боятся ездить из села в село!



АВТОМАТЧИКИ ВЕДУТ ОГОНЬ

Фотография. Западный фронт, 1 гвардейская мотострелковая Московская дивизия. Декабрь 1941 г.
Центральный архив кино-фото-фонодокументов, Красногорск

Очень странно читать письма к солдатам французского легиона¹. Держишь в руках простреленную книжку бойца Испанской интернациональной бригады, карточки, подаренные товарищами по боям за народ, может быть, друзьями Долорес. Какие причины заставили этих негодяев переметнуться в фашистский лагерь? За 12 дней они здесь потеряли 60% состава и бегут к нам в плен. Но в плен сейчас попасть не просто. Зверства, которые немцы творят повсюду здесь в деревнях, приводят к тому, что их перебивают прежде, чем возьмут в плен. А сколько чудесных, иногда смешных случаев! Наши добряки-красноармейцы поймали пленного. Он удирал и потерял шапку. Конвойные видели, что немец очень замерз, и один снял шапку и надел на него. Мой товарищ увидел его и говорит: «Зачем?» — «Да очень он замерз».

Одна группа разведчиков должна была взять «языка». Стукнули его прикладом по голове, немец умер. И в донесении так и написали: «Немец оказался слабый, не выдержал удара прикладом и умер». <...>

Писать эти дни не успеваю ничего, меня гипнотизирует не убывающая, но все время сменяющаяся гора писем, журналов, книг, газет. Много попадается беллетристики. Так интересно знать, что читает сейчас Германия, — я всё откладываю книги, но не успеваю почитать.

Ну, вот тебе отчет, Лилочка. У нас, наверно, начнется теперь кочевой период, — раз части двигаются вперед, мы — следом за ними. Новое недоразумение у меня с деньгами. Меня оформили, но не ввели в кадры; тогда я должен получать по Союзу, а здесь — 75 р. в месяц; мне это не улыбается, так как я не верю в аккуратность Союза, да и больше буду получать здесь.

Сегодня задумался — не лучше ли оставаться *не*, кадровым, — но потом решил, что когда война кончится, меня отпустят по ходатайству Союза, а пока война — я все равно никуда не уйду. Правильно? <...>

¹ Французский легион был сформирован из разного рода деклассированных элементов в 1941 г. ренегатом и предателем Дорио. В декабре того же года направлен на Восточный фронт, где использовался главным образом для полицейских и карательных операций, а также для действий против партизан. В 1944 г., после форсирования советскими войсками р. Березины, французский легион был снят с Восточного фронта.

24.12. (1941 г.)

Здравствуй, Лиловочка. Сегодня переехали вперед — на порядочное расстояние: немцы отступают. До чего приятно двигаться не назад, а вперед! 48 дней в этой деревне были немцы, и весь день слушал рассказы взрослых и ребятишек об этом страшном времени, от людей, у которых в избе стояло 32 немца, — все так выпукло, ярко. Сейчас все улеглось, но я засну не скоро, хотя ехали ночью, и я совсем не выспался. Сейчас у меня появится новая работа. Мы получили мощную кричалку, которая кричит на 4—9 км, в зависимости от ветра. Будем кричать немцам непосредственно, без всяких приемников. Нужно будет редактировать передачи и наблюдать за проведением их, подготавливать материал. Это очень интересно. <...>

Живем у председателя колхоза. Это рослый мужик, добродушный тамбовец.

— Разовь десять, — говорит, — немцы снимали с меня сапоги, никому не гожаются. Так и не подобралось немца по сапогу — № 45, <а мне> и то тесен.

Овечка обьягнилась, два ягнечка. Немцы забрали овцу, а ночью она убежала от них, прибежала к ягняткам. Ее бы зарезать, да пожалели — ягнятки останутся. А утром немцы опять пришли, забрали ее.

Вот такие рассказы вертятся в голове; в соседней комнате наши радисты бьются над трофейной машинкой, над которой и я сегодня бился несколько часов. Особенная, писать нужно одним пальцем, весь алфавит — на цилиндрике, который поворачивается то так, то эдак, и прижимается к бумаге.

На столе у меня — выжимки из двух с половиной тысяч писем, которые я просмотрел за неделю, и никак не успеваю обработать, хотя бы для армейской газеты. А много есть хорошего материала. Попадают листки на папиросной бумаге с осторожной, но острой насмешкой над гитлеровским режимом. Вот рождественское:

«Объявление министерства по празднованию Рождества

1. Иосиф призван в армию.
2. Мария работает сестрой милосердия.
3. Младенец Христос эвакуирован ввиду угрозы воздушного нападения.
4. Волхвам с востока въезд воспрещен.
5. Вифлеемская звезда затмилась.
6. Пастыри отбывают трудовую повинность.
7. Ясли, как и прочие кормушки, переданы национал-социалистической партии.
8. Об ослах вспоминать не разрешается и т. д.

И подписи: Четыре апостола:

Адольф всемогущий,
Гebbельс врущий
Гимmlер злющий
Рудольф бегущий». <...>

16 января — или 17-е (1942 г.),
как хочешь, — уже поздняя ночь

Просмотрел грудку свежих писем, одурел окончательно. А настроение хорошее, очень. И потому, что получил твое письмо, узнал, что ты благополучно вернулась из командировки. И потому, что не сегодня-завтра будет взят Можайск. А может, в эту минуту уже наши части входят в него. Это уменьшает мои шансы съездить в Москву, но я согласен. <...>

Третьего дня приезжали сюда Виктор Гусев¹, композитор Блантер, редактор армейской газеты Альтман, Габрилович. Приятно было видеть их. Редактор обрадовал меня: при обсуждении газеты в ПУРе особо отметили маленький отдел фельетонов на фактическом материале, который я веду (бесплатно, конечно) в газете². Меня это очень порадовало. Говорят, бойцам нравятся эти заметки. Очень горько было узнать, что из писателей, которые были со мной, почти никто не вернулся. У меня перед глазами стоит Стрельченко, с которым мы крепко подружились, — запыленный, улыбающийся. Сколько метров окопов и рвов вырыли мы с ним, плечо к плечу! У него была своя манера читать стихи, по-детски растягивая слова. Одно стихотворение он написал обо мне — такое ласковое, как никто обо мне не говорил. <...>

У меня последнее время новая нагрузка: у нас, кроме меня, еще три переводчицы, только что кончившие институт. Славные девочки, язык знают гораздо лучше меня, но переводить не умеют совершенно и не понимают простейших вещей. К тому же больше часу подряд не привыкли работать. И мне приходится их дрессировать и делать им проборки за отлынивание от работы, — в общем, целый детский сад.

С звуковой установкой мне все не удается поездить, — слишком много работы здесь, и начальник предпочитает посылать одну из девушек.

Мне досадно, что я считаюсь переводчиком: фактически я веду работу инструктора; все донесения о политико-моральном состоянии противника я пишу сам, ни с кем не советуясь, и они так и идут, с небольшими, но обязательными поправками. А это ведь основная форма нашей работы. Но инструктор должен быть партийным, а то, что меня принимали в кандидаты в ополчении, — это пропало, нужно начинать снова. При первой возможности сделаю это, — я ведь чувствую себя таким давно. <...>

¹ Поэт и драматург Виктор Гусев (1909—1944) руководил в это время литературной редакцией Центрального радио.

² В газете «Уничтожим врага» М. А. Гершензон вел отдел под названием «В лагере врага» и писал для него небольшие фельетоны с цитатами (из писем и дневников пленных, раненых и убитых немцев), свидетельствовавшими о начинающемся разложении гитлеровской армии.

18.1.42 г.

Здравствуй, Журочка!¹

Сегодня получил твое письмо (без конверта).

Золотко мое, какая ты умница, что часто пишешь! Письма доходят не все, так что нужно писать особенно часто.

Спасибо тебе за адрес Яши². Ты у меня совсем большой и умный.

Очень жаль, что ты не получил марок, — я посылал тебе их по крайней мере в 10 письмах; верно, сейчас это не разрешается. Ну, не беда, вот возьмем Берлин — у нас будет сколько хочешь марок, такие коллекции составим, что только держись!

А немец драпает здорово! Его даже догнать трудно бывает.

Тут был такой случай. Ехал шофер с грузовиком, вдруг на дороге — пять немецких автоматчиков. Он остановил машину, они сложили в нее оружие, побежали, привели еще 20 человек. Кричат шоферу: «Вези! Вези в штаб!» — Шофер, ни жив ни мертв, едет. Боятся — как бы его не при-

стрелили, как бы не натворили дел в штабе. Едет, трясется. А немцы просто все сговорились садиться в плен. Так шофер и привез их в штаб, они из машины выскочили, без оружия, руки кверху. Представляешь, сколько было хохоту? <...>

Я много работаю, пишу только для газет, больше ничего не успеваю. <...>

Тебя очень крепко целую.

Сегодня, наверно, опять передвинемся вперед — догонять фрицев.

Передай привет всем товарищам.

Крепко, крепко тебя целую.

Твой папка

¹ Письмо адресовано сыну Евгению.

² Яков Моисеевич Ром — друг семьи Гершензона.

25.1.42 г.

Листик мой, вчера получил от Маши твое письмо, написанное в конце октября! И все равно, так счастлив был <...>

Скоро опять, наверно, будет у меня задержка в получении писем, потому что я хочу менять адрес. Меня окончательно допек мой начальник. Он — неприятный, тяжелый человек, сам подхалим и ему нужны подхалимы. Отношения у нас все время натянутые. Конечно, я слушаюсь точно, по уставу, но мне это надоело. А меня звали в Политуправление фронта; там работа будет, вероятно, и шире, и интересней, а здесь он меня все время толкает в сторону от дела к канцелярщине. <...>

Вчера у меня был очень интересный пленный. Поджигатель, оставленный для поджога уцелевших в селе домов. Красивый молодой рабочий, очень спокойно держится, против обыкновения — открытое лицо.

Начинаю допрашивать, и вдруг оказывается, что он всей душой ненавидит фашизм, и Гитлера, и войну. Две недели назад, не желая больше воевать, он сбежал из своей части и, пользуясь тем, что немецкие дивизии в панике бегства перепутались, две недели жил, якобы разыскивая свой полк, хотя отлично знал его расположение. Питался поначкам у чужих полевых кухонь. А когда, с чужой ротой, был окружен в одном селе и чужой фельдфебель приказал ему поджечь два дома, он вбежал в дом, полный женщин и детей, и спрятался за ними, в темном уголке. И все выглядывал в окно — ушли ли немцы. А женщины прятали его. Пришли наши, он поставил винтовку в угол и сказал «добре», — одно из десятка русских слов, которые он знает. Я спросил его, не знает ли он подпольных песен. Знает Эриха Вайнерта и «Красный Веддинг»¹. Написал мне нечто вроде частушек против Гитлера, Бока и фон Клюге², — сочинил их его товарищ. А под конец говорит: «Я и сам попробую написать». — «А ты умеешь писать стихи?» — «Да, иногда я писал матери или моей Mädel»*.

Наверно, сидит сейчас и пишет.

Грица я все еще не видел.

Тут приехал Хаджи Мурат Мугуев, он уверяет, что Стрельченко жив. Я не смею этому верить. Но, может быть, это все-таки так. Я очень счастлив буду, если он уцелел. Тебе он тоже понравится, он особенный, на других непохожий. <...>

Будьте мне здорovenьки. Лилька, милая моя, а немцы бегут.

М и ш а

¹ Эрих Вайнерт (1890—1953) — немецкий поэт, коммунист (о нем см. настоящ. том, кн. первая, стр. 545—552). «Красный Веддинг» — название популярной в Германии революционной песни Эриха Вайнерта.

² Бок и фон Клюге — фашистские генералы.

* девушке (нем.).

(Январь 1942 г.)¹

Лиловочка, здравствуй, родная!

Только что кончил кучу служебной работы, всякие листовки, донесения; как гора с плеч. Может быть, удастся теперь пописать немножко.

Эти дни много работал с одним немцем. Учил его политграмоте и немецкому стихосложению. Такое ощущение бывает только в общении с ребенком: берешь что-то бесформенное и делаешь из него человека. Почти неправдоподобно, какой гигантский путь он прошел за эти две недели. Мне жалко будет с ним расстаться, столько я вложил в него. И результат уже есть: он написал несколько хороших, искренних, острых политических стихотворений. А был — фашистский попугайчик. Сегодня хочу писать рассказ о нем — еще один из «Отступления песен»².

Ко мне тут друг приезжал, очень хороший еврейский поэт Кушниров. Грязь такая, что чуть ли не черпаешь голенищами, а он сел на лошадку и приехал повидаться за 30 км. Мы не виделись с октября. Ему лет 50, совсем седенький, маленький. Вместо еврейских стихов пишет всю войну передовицы в дивизионной газете³, создает фронтовой юмор, который сразу становится фольклором, — вроде: «Глуши немца матом и автоматом», или «Русский говорит гут, когда немцы бе—гут». Сидели с ним до поздней ночи, утром я оседлал ему лошадку, и он уехал.

Здесь сейчас Либединский. Мы с ним не были близки, но так оба обрадовались, когда увиделись. Он мне многое рассказал о товарищах. Вильям-Вильмонт, оказывается, спасся, вывел из окружения целую группу. Жига отпустил окладистую бороду и долго партизанил, ходил с револьвером в кармане, с партбилетом, и ни разу его не обыскали, не заподозрили, — так он был похож на мужичка. Удивительней всего, как спаслась артистка театра Революции Енютина⁴. Она была у нас в полку в агитбригаде. Ехали две машины, в одной — агитбригада, на другой — Кушниров с клубом. Вкатили в деревню, агитбригада влипла к немцам, а Кушниров в последнюю минуту свернул в поле; он попал в окружение, но не в плен. Артистов (среди них был и Окаемов⁵) немцы выстроили, велели женщинам выйти вперед. Енютина сказала товарищам: «Зовите меня Ваней», надвинула пилотку на лоб и стала играть роль парня. (...) При первой возможности она переделалась колхозницей, повязалась платочком и начала играть новую роль. Так она убежала с двумя артистами (Окаемов побоялся и остался у немцев) в Калугу, тогда занятую немцами. У кого-то из них родственник служил в сумасшедшем доме, на окраине. Они там устроились служащими, она — уборщицей. Ее последняя роль была — Мария Стюарт. Сумасшедшие ничего не понимают — и, убирая дом, она целыми днями декламировала роль Стюарт. Потом однажды услышала странное шипенье. Это шли наши лыжники в маскировочных халатах. Она увидела, наконец, тень, кинулась, обняла. «Демаскируешь, дура!». А потом Калуга была взята. Правда, чудесно? (...)

¹ Письмо без даты. Месяц определен по почтовому штемпелю на конверте.

² «Отступление песен» — так назывался задуманный и частично осуществленный Гершензоном цикл военных рассказов. Они не были опубликованы. В настоящее время хранятся у Л. С. Коган. В письме к ней от 11 мая 1942 г. (не вошедшем в настоящую публикацию) Гершензон писал: «„Отступление песен“ — не значит, что музы молчат, когда грохочут пушки. Наоборот. Но в песнях армия отступает даже тогда, когда Гитлеру еще удается удерживать ее в блиндажах: это — симптом их разложения, нашей победы».

³ Газета «Доблесть» 8 Краснопресненской дивизии народного ополчения.

⁴ Вера Вячеславовна Енютина — артистка московского театра Революции с 1934 по 1942 год. В июле 1941 г. вступила в ряды народного ополчения, состояла в агитбригаде 8 Краснопресненской дивизии. В настоящее время работает на радио, в кино.

⁵ Александр Иванович Окаемов — певец, солист Радиосовета. Захваченный с группой артистов фашистскими войсками, он стал затем участником подпольной борьбы. В 1943 г. был расстрелян фашистами в г. Кричеве. (См. о нем в ст. М. Яковлева «Песня будет жить» — «Музыкальная жизнь», 1960, № 10, стр. 6—7).

Смерть немецким оккупантам!



УНИЧТОЖИМ ВРАГА

ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ГАЗЕТА

Прости и вперед! товарищ!

 № 35 (200)
 ПЯТНИЦА
 7 февраля 1942 г.

ФРИЦУ ГОЛОДНО—ДАДИМ ЕМУ „ГОРЯЧЕНЬКИХ“ ФРИЦУ ХОЛОДНО—ОТОГРЕЕМ ЕГО ОГНЕМ АРТИЛЛЕРИИ ГОНИ ФАШИСТОВ В ПОЛЕ, БЕЙ, ИСТРЕБЛЯЙ ИХ!

Артиллеристы, действуйте, как расчет сержанта Крипак

Частуловые вестки дожили нас три артиллерийских осы, они зати артиллерийской ушки. Тесные полководцы: полки и артиллерия на поле боя — много воеды на врагов.

Артиллерийской огню, победим в течение всего боя, подобрали противника не будет, воедем на него гребнем. Артиллеристы должны проявлять себя в боях, борясь с врагом и гоня его, укрепление врага с отрывом позиций правой рукой.

Утром чиналы гурь дало. Руби на руку и мотостанком артиллерия артиллеристы. Стрелять правой рукой, она гурь, укрепление врага.

Боготроим, действовали и без мажорки, воедем, заставили. Понимаю, установка. На первом. Несмотря на гонимый врага, она сложилась и командиром работала у орудия, точно выполняла команды командира. Делать, против отпавшей — и зати, длет, правая рука и гурь, обманок. Огню.

Герои-партизаны бьют фашистов

Торники донбасса
 действуют смело

Партизанский отряд стрелков Давыдова, где командиром тов. Г. совершил вылет на поле боя. Советские артиллеристы уничтожили вылет с артиллерийскими, артиллеристы в боях и в нескольких случаях с разбитых вражеских групп. Во время вылета вражеские самолеты были до 10 штук. Через несколько дней партизаны разрушили вражеский аэродром, а затем уничтожили все расположенные объекты.

Сержант Владимир Кошкин. Он уничтожил 3 фашистских танка. Когда немцы в атаку выскочили на германские машины, сержант артиллеристы разрушили вылет.

Фото вылет воедем артиллеристы Кошкин.



«УНИЧТОЖИМ ВРАГА»

Газета 5 армии. Западный фронт, 7 февраля 1942 г., № 35

Страница первая, фрагмент

4.2.42

⟨...⟩ Несколько дней не писал, хотя очень хотелось, и сейчас пишу с трудом. Я был в командировке на передовых, и там со мной случилась неприятность: на полном ходу открылся борт грузовика, и меня центробежной силой вышвырнуло, как котенка; как водится, досталось моему длинному носу, он вправился на свое «когдашнее» (можно так сказать?) место. В общем, сильно ушибся спиной и головой. Кости остались целы, и мозги, кажется, тоже. Рожу покарябал чуть-чуть, уже заросло. А глаз еще болит, но уже видит (представь себе, в прежнем розовом свете). Какая-то требуха еще болит, так что почти весь день лежу. Но сейчас уже всё пустяки. А в первую минуту я испугался здорово — смотрю глазом и ничего не вижу, целых полчаса. Все смеются надо мной, говорят, я теперь могу быть, как раненный, повышен в звании, не дожидаясь срока. В общем, еще два-три дня, и это станет прошлым. А в дивизии, куда я ездил, мне очень было хорошо и интересно. Я ведь не видел передовых периода наступления. Чудесный дух, весело, бодро, спокойно — это главное. Ни криков, ни суетни. Чистая спокойная работа. В первый вечер к начподиву приезжал отдохнуть генерал, командующий дивизией. Я был совершенно очарован им. Он рассказывал о посещении английского генерала Макфарлана.

— Понимаете, Макфарлан все угощает шикарными длинными папиросами, а у меня — махорка! Неудобно все-таки. Вдруг я вспомнил — у меня под подушкой осталось полпачки папирос. Послал за ними, потихоньку мне дают их, я открываю — так и есть, полпачки сохранилось. Угощаю Макфарлана, мы, дескать, не хуже других. А нашу бражку знаете — вмиг расхватили, и опять у меня — одна махорка! Да, что ж это я, рассказывать рассказываю, а вас не угощаю! Закуривайте. А вы там, во втором эшелоне, почему не закуриваете?

Одет в такой же тулуп, как все бойцы на передовой, и знаков никаких не видно. А на голове — танковый шлем, потому что голова у него боль-

шая, не подобралось шапки. Вот он какой, Орлов. Кругом на дорогах — сотни сожженных немецких машин.

Очень хочется написать тебе подробно про жизнь в дивизии, — я пролежал у начподива на его постели полтора суток, а сам он спал на полу. И отчаянно изругал меня, когда я протестовал. Кормили меня гусем, поили водкой, я не знал, куда деваться. Высокий, веселый украинец. Показывал карточки своих ребят. Стук в дверь — боец: «Позвольте минутку погреться?» — А он — так спокойно, медленно: «Разве ж за минутку согреешься? Раздевайся, затопляй печку, вот и согреешься». А в избе полным полно. За бойцом входят еще трое, а потом — две тетки. Разговаривают, разговаривают, а вдруг оказывается, что у них на дворе в санках — дочка с обмороженной ножкой. Как он на них напустится: как это можно допустить, чтобы дочка ногу обморозила? Сам бежит, устраивает дочку в другой комнате на стульях. (Время — часа 2 ночи.) Входит мальчик — писанный красавец, кудри вьются, лет 16—17, толстые, выпяченные губы, голубые глаза. Это, оказывается, новый председатель сельсовета, а самого совета еще нет. — «Граждане не сдают трофейные велосипеды». — Начподив проводит с ним, стоя, часовую беседу — как организовать советскую власть. А сам успевает в это время пять раз спросить хозяйскую дочь, крепкую дивчину, почему у нее зуб выбит (хотя знает уже давно, что это у нее вышла драка с немцем), и приласкать трех одинаковых круглоголовых девчуток, которых хозяйка взяла на воспитание и любит как своих. Ну, а хозяйка в это время рассказывает кому-то, как стояли немцы — все кричат, кричат и война по-ихнему «крик» называется. Ну, в общем, написать сейчас не смогу, глаз устал, а потом — забуду. <...>

6.2.42

Здравствуй, Лилюшка! Кажется, будет оказия послать тебе письмецо с самолетом, — попробую.

<...> несколько месяцев еще, и я постучусь, и поедем вместе в Москву. Скорей бы, скорей бы! Можайск уже наш, почти весь целый. Еще нажим — и отберем Гжатск; под Вязмой уже дерется Говоров. Наверно, придется опять увидеть Дорогобуж. Насколько легче, воздушной дорога туда, чем назад! Страшно думать только о жертвах. Многих, многих уже не увидим. <...>

Нет, в Ялте нам не бывать в мае, — а свободна она, наверно, будет еще весной. Я очень верю этому. Хочется писать уже последнее время, не стихи, а прозу, хотя еще ничего определенного. Просто, хотя бы для себя записать кое-что. Но ведь совсем не бываешь один, домов-то в деревнях осталось мало, всегда тесно. А дальше и вовсе не придется. Да и работы много.

Сейчас особенно хочется написать об одной маленькой партизанке. Я наверно писал тебе про нее — московская, бухгалтер, беззубая, потому что подралась с братишкой, который в ее отсутствие отбилась от рук. Прелесть по простоте героинства. Лет восемнадцати-девятнадцати. На днях я спрашиваю товарища — вышла ли благополучно?

— Твердый оказался человек. Немцы повесили <ее> в Волоколамске.

И она стоит у меня перед глазами — такая, какой я видел ее, когда, придя из лесов, она растирала у печки маленькие замерзшие ноги. Ну да, я вспомнил, я писал тебе, как немцы таскали ее в сарай, но она убежала от них¹.

Листик, Листик, много страшного видишь на войне, но много хорошего тоже. Как бы тебя увидеть хоть на минутку? Очень прошу тебя, пиши мне подробнее о своей работе, ведь мне это очень нужно знать. <...>

¹ Упомянутое письмо не было получено.

⟨Москва.⟩ 1.3.42

⟨...⟩ Звонил в ПУР, просил о переводе на газетную работу; ответили, что мной распоряжается только ПУ фронта. Попробую обратиться к ним; важно перейти на такую работу, где меньше напрягалось бы зрение.

⟨...⟩ Оказывается, я очень устал оттого, что никогда не бываю один, всё на людях. Сегодня у меня впереди еще длинный вечер, в тепле, при свете, в чистоте. Один! Можно думать, записывать кое-что в записную книжку, просто отдыхать, опять и опять вспоминать тебя, о тебе. Стихов писать не буду, может, почитаю немножко сонеты Бехера, которые купил сегодня: после стольких груд немецкой дряни почитать хорошие стихи.

Мне очень дорог сегодняшний вечер, наверно, последний, ведь больше в Москву не поеду до конца войны. ⟨...⟩

28.3.42

Лилюшка, сейчас — закат, небо, как яркая медь, тихо стоят черные ели. Снег, почерневший было, опять свеж. Я почти не выхожу, меня слепит сейчас красота природы, и еще тяжелее слышать далекий гул орудий. За окном все время идут, идут. Мне нужно на фронт, туда, куда они идут, но никак не вырвусь, и чувствую себя, как в клетке. Нужно работать все время, чтобы ни о чем не думать, а глаз начинает болеть после часа-двух работы; толчешься без толку, каждый раз опять берешься за дело и через четверть часа бросаешь его. Я подал снова рапорт, но начальник не хочет посылать его дальше, и я ничего не могу сделать. А мне непременно нужно видеть наших людей в бою. Фрицы мне надоели донельзя. И не о них же я буду писать после войны. ⟨...⟩

Не знаю, отчего не пишется. Оттого, что кругом все время люди, и ребяташки, и начальник, которому срочно нужно найти какую-то бумажку (он забудет о ней, как только ему ее дашь); или оттого, что просто устал. Не знаю, — ведь работалось же хорошо недельку. А написать хочется о многом. Об ополчении, о личном счете фашизму, который может предъявить каждый из нас. У меня в счет должны войти товарищи, которых я полюбил, — маленький Гурштейн, и бестолковый Кандыба, и бесконечно дорогой мне Стрельченко. Я о нем думаю каждый день. И разлука с тобой тоже должна войти в счет: каждая минута с тобой, которая отнята у меня. Все должно быть вперемешку, но не дается. Вообще так чувствуешь, что тебе не обнять огромности всех событий, всех несчастий, всего героизма, что опускаются руки. И так не хватает твоей руки, твоего одобрения. Меня перебили, и я пишу при коптилке, уже устали глаза, нужно бросать. Письма от тебя нет опять сегодня, последнее было от 10.2.

Вот, поскулил, и сразу мне принесли письмо — от 13.3. Всегда так буду делать. Выкупался, это задумано было еще с утра; теперь глубокая ночь, все давно спят. ⟨...⟩

Писать — да, очень надо писать, надо зло, надо так писать, как дерутся наши. В одной роте убило командира, потом комиссара. Рядовой боец, казах, решил принять командование, — в эту минуту осколком мины ему оторвало руку, левую у плеча. Он взял ее за кисть правой рукой, поднял над головой, как знамя, и крикнул: «За мной, принимаю командование ротой!» Один комиссар был трижды ранен, ослаб; он велел двум бойцам поднять его и нести впереди, — они его несли, как знамя, и ворвались в деревню. Тогда он сказал: «Я обманул старушку смерть на пять часов, ровно на столько, сколько было нужно, чтобы взять деревню». И умер. Вот так нужно писать. А начинаешь — все кажется мелким по сравнению с событиями, с людьми. И мало видишь наших людей, всё фрицы, да фрицы. Ничего, злоба копится, она никуда не денется, она прорвется. В армейской газете я пишу постоянно, и говорят, что бойцы

любят мои фельетоны. Литературно это всё — пустяки. Я *должен* брать глубже. <...>

Далеко где-то уютжит немцев наша любимая «Катюша» — Сталинский орган, как зовут ее немцы. Такое чувство, что еще одна союзная держава, раза в три больше Англии. <...>

8.4.42

Здравствуй, Лиловочка. Вчера у меня какой день был хороший! Пришло твое письмо с Юрашкиной запиской, что за славный мальчуган! И Юрашкино письмецо и Журкино. И еще пришел Гриц, они переехали и живут теперь в полутора километрах; я отпросился, пошел к нему ночевать. Жена его работает там же в газете, машинисткой, кажется, живут они очень дружно. У них чисто, электричество, только двое в комнате. В общем, словно попал в мирное время. Странно видеть, как у людей подшит пододеяльник, на столе — Блок. Все-таки, иначе живут в газете. У нас — трое работников политотдела, хозяйка и пятеро детей в одной комнате, вечная грязь. Ну, всё надеемся, что скоро двинемся вперед. Ох, как надоело топтаться на месте! <...>

Я последние дни занимался совершенно неожиданной для меня работой. Наблюдения над тем, как немецкие солдаты переделывают старые песни на новый лад, толкнули и меня в эту сторону; я попробовал, и получилось. Пять-шесть песен я переделал, даже написал по-немецки два стихотворения; у меня есть ручной фриз, с которым я могу советоваться в отношении языка, и хотя он, как и все они (почти все) гад, но ради шкуры он готов делать что угодно и делает все с педантичной добросовестностью. Наверно, песни будут печататься в нашей «Вархайт» — «Правде» на немецком языке¹. Вот будет смешно!

Сегодня хочу приняться за рассказ — за два рассказа, которые давно уже вертятся в голове. Рассказать один? Наш партизан убегает от немцев из плена. Он знает, где расположена база, и несколько дней ждет в лесу, чтобы началась метель — боится следами выдать путь к базе. В эти дни он находится в лесу заблудившегося, замерзшего немца, который мечтает сдаться в плен. Вместе с ним приходит на базу. Там — одни только медовые пряники, несколько мешков. Они живут там месяц. Наш все время очень боится прихода немцев, он знает, что территория в их руках. И немец боится не меньше его. Через месяц приходят на базу партизаны. Оказывается, уже три недели район освобожден от немцев. А те всё варили суп из медовых пряников². <...>

¹ Политуправление Западного фронта с лета 1941 г. издавало для солдат противника газету на немецком языке «Wahrheit» («Правда»). В письме от 13 апреля 1942 г. (не вошедшем в настоящую публикацию) Гершензон писал: «Еще сегодня пришел номер „Правды“ на немецком языке с моей обработкой старинной солдатской песни. Я горжусь — и важничая, да, да. Подписано: „Написано немецким солдатом“. Может быть, эту песню действительно будут петь где-нибудь в немецком блиндаже; это стоит удачного выстрела».

² Рассказ этот не сохранился и неизвестно, был ли он написан.

3 мая <1942 г.>

Листочек, светлячок мой, пишу тебе из командировки. Наконец, вырвался, уже пять дней хожу по дивизиям. Грязища такая, что вчера утопил один сапог, еле-еле мы с товарищем руками разрыли грязь и вытащили его. Машине не пройти, всё пешком, когда 10, когда 30 км в день. А до чего приятно! Такая знакомая и уже родная жизнь в землянках, будто вернулся домой. Идет обстрел, но не сильный, изредка провояет мина. Все ждут наступления, нашего, конечно, всем не терпится. Все уверены, что до победы недалеко. Двое суток провел с разведчиками — ну, точно это те же ребята, с которыми я был во взводе разведки в опол-

ПАРАШЮТИСТЫ-ДЕСАНТНИКИ
ВЕДУТ БОЙФотография. Западный фронт,
февраль 1942 г.Центральный архив кино-фото-
фонодокументов, Красногорск

чении. Но как они возмужали, их опалило огнем, в каких только переплетках они ни были! А рассказов, рассказов! Я с ними беседовал о состоянии противника и организовал изучение минимума немецких слов и лозунгов; потом читал им сказки и стихи, они были очень рады. И беседа, которой я боялся, прошла хорошо, много смеялись, получилась такая бодрая зарядка. Они мне рассказывали о себе, о товарищах. Чудесная фигура — украинец Петренко, востроносый, веселый и злой. У него еще пять братьев в армии — два кавалериста, один — артиллерист, один — связист, один — он не знает кто; а сам — командир взвода разведки. Простой случай — нужно было перерезать в одном месте проволочные заграждения, но мешал огонь. Петренко привязал к заграждениям проволоку и из укрытия дергал, дергал. А немцы сейчас же — из минометов по этому месту. Так он их дурачил часа два, а тем временем его бойцы перерезали проволоку в другом месте и прошли. Рассказ простой, но при этом — милый, лукавый и простой украинский язык — прелесть. Спали с ним вместе, думал, проведу с ним еще вечер, но все мои слушатели получили задание, построились и ушли. Много ли я видел их, а всё думаешь: все ли вернулись, это уже — товарищи, и очень близкие. Меня они называют сейчас очень почтительно — товарищ майор, или батальонный комиссар; так чудно, никак не могу привыкнуть.

Весна, весна, Лилюшка, а Ялта так далеко — и назад поглядишь — далеко, и вперед — далеко. Леса прорваны снарядами, изуродованы пиллой. Блиндаж в пять накатов — это 80—100 деревьев. А сколько таких блиндажей построили мы и немцы. А сколько километров дорог застелено бревнами — одно к одному, вплотную. Всюду лежат лошадиные ноги — мертвые кости с подковами. Самих лошадей давно съели — парными еще. Прилетают бабочки-лимонницы, садятся на эти обломки — это весна.

По реке идет рыбешка, ее глушат гранатами — это весна. Поглядишь на раковины на дне, глаз непременно наткнется на пустую гильзу, нашу или немецкую, — это весна. Только что здесь в доме была радость — вернулся кот, единственная скотинка, — он убежал, когда хозяева не жили в доме, убежал от немцев, а теперь вернулся, гладкий, блестящий, тяжелый от падали, — узнал своих и вернулся — это весна. Мина падает в лесу, или снаряд разбивает муравейник, он спал еще, но проснулся раньше времени, потому что половина его вылетела прочь. И муравьи бегают, суетятся — это весна. У разведчиков подсочены березы, под надрезом вбита железка — обойма, они в любое время притащат фляжку густого, прозрачного, как кристалл, сока. Он уже не сладкий, но пахнет весной. Про все это хочется в стихах, но не дается. Будет время, еще напишу. <...>

8 мая

Лиловочка, некогда было кончить. Вчера пришел «домой», прошел по грязище 35 км, но уже совсем отдохнул. Сейчас идет почта, спешу отправить письмо. Много видел интересного, волнующего. Мне это нужно каждый день. По-видимому, мне теперь вообще дадут возможность ездить. Бесед провел в частях много, мне это было неожиданно легко, слушали весело и с интересом. <...>

2 июня <1942 г.>

Здравствуй, Лиловочка. Опять катаюсь — с одной попутной машины на другую; всякий раз старательно проверяю, как закрыты борта. Даже в одной части приходится ездить — расстояния большие. Очень приятно опять попадать в те части, где уже был, где отряды моих учеников ежедневно кричат немцам; ребята всегда рады мне, я — им.

В одной части наткнулся на замечательный образец незаметного, скромного геройства. Дело было в ноябре. Боевое охранение в 55 человек должно было возможно дольше охранять лесок, никоим образом не пропускать немцев. Народ все был сырой, с Алтая. Комроты — с ним я беседовал — худенький, болезненный человек, — показал им, где отрыть окопы, блиндажи, и ушел только, когда все было готово: «Как же мы будем стрелять из пулеметов, мы ведь не умеем, товарищ командир!» — Он им показал. Двое было там связистов — Юрьев, сибирский охотник на медведей, и Антонов — тихий парнишка, очень молодой, совсем мальчик, — от него я во всех подробностях узнал эту историю. Всех других почти не помнят, только списки есть с «демографическими данными»: они прибыли 8 ноября, а 16 ноября началось дело.

Первых двух немцев убил Юрьев, когда ходил в лес за хворостом. Потом пошел на охранение взвод <немцев>, они подпустили его близко и уложили. Потом пошла рота — они перебили роту. К этому времени комроты пришел к ним.

— Ну, что ж, — говорит, — не плохо стреляете из пулеметов, а?

У них оставалось уже 37 человек, комроты составил список, который я и видел, троих убитых и всех раненых отвезли назад. Они остались воевать. Немцы шли и шли; потом подвели три танка и орудие. Они бились, пока не осталось в живых трое: Антонов, Юрьев и командир взвода Ершов. У них иссякли патроны, оставалась семь гранат. Восьмая была забыта на крыше блиндажа. Юрьев доставал ее, ему пробило руку. Побросали все гранаты, решили прикинуться мертвыми. Легли ничком где попало в одном блиндаже. Антонов незадолго до этого отключил аппарат: он до этого все время корректировал стрельбу наших минометов по блиндажу, немцев там набито было очень много.

И вот, немцы пошли лазить в блиндаж, обшаривать трупы, мародерствовать. Антонов вспоминает, что у входа в блиндаж на сосне висел

противогаз — ни один немец не прошел мимо, не слазив в него. Один из вошедших подошел к Юрьеву и выстрелил ему в голову. Он умер, не издав ни звука. Другой выстрелил в ноги Ершову — разрывная пуля прошла через обе ноги, но Ершов не пикнул, он лежал, как мертвый. И они ушли. Перевязать Ершова Антонов не мог, потому что немцы, нет-нет, заходили в блиндаж. Когда смерклось, перевязал его и стянул ему ноги повыше ран кабелем, чтобы остановить кровь. Немцы зажгли два костра в 10—15 метрах. Антонов с Ершовым договорились: Антонов пройдет к нашим, приведет отряд, отряд выручит Ершова: он не мог ходить.

Антонов взял винтовку, телефонный аппарат, катушку с остатками кабеля и пополз. Мимо костра прополз благополучно, дальше нарвался на немецкого часового, ушел от него. Пытался еще собрать кабель, но он весь был изорван танками в клочья. И вышел — единственный из 37! За Ершовым повел отряд другой — отчаянный парень, который совершенно обворожил меня. Среднего роста, коренастый татарин с очень медленно и бесконечно широко расцветающей улыбкой, — педагог-исследователь, который от работы с школьниками перешел на изучение дошкольников, потому что его заинтересовала психология развития детской речи от лепета до речи. Сейчас он — политрук роты автоматчиков. Он работал в Астрахани, в детском комбинате рыбокомбината, доказывал, что если мать «лепечет» с ребенком по-детски, у ребенка речь развивается на три месяца раньше: ласковая теория милого парня, который всюду нашел бы подтверждение для *любой* своей гипотезы. Знает имя, работы Пьяже¹, над которым работала Шабад². И статьи Шабад тоже знает.

Парень 16-го напугал боевое охранение, пойдя в разведку по соседству; тогда с 6 бойцами он столкнулся с 40 немцами, принял бой, большую часть перебил и взял в плен офицера, а вернулся без потерь.

Теперь он пошел добывать Ершова. Всюду наткнулся на сильные отряды, на бой, — так и не удалось пробиться к Ершову. Вот и вся история. И никто из них не награжден — ни этот политрук, Курамышев, ни Антонов.

Меня очень взволновало это дело. Во что бы то ни стало добыю награждения для Антонова. Я с ним беседовал часа четыре, записал многое, а «историю» записал он сам, я читал ее с комроты, который внес несколько поправок. Хочется написать об этом книжечку, а нет — пригодится когда-нибудь. <...>

У нас большая удача на участке. Немцы ходили в атаку, их пропустили, отрезали и смешали в грязь, в кашу — больше 1800; взяли десяток пленных, вероятно, и материалы, но я — не дома, и мне не придется, очевидно, ни допрашивать, ни читать материалы. А пленные нужны нам были позарез. И вся армия сразу повеселела. <...>

Будьте мне здоровенькие, война скоро кончится, дела идут на лад. Крепко, крепко.

М и ш а

¹ Жан Пьяже (Piaget) — швейцарский психолог, занимавшийся изучением языка и мышления детей. На русском языке была издана его книга «Речь и мышление ребенка» (М.—Л., 1932).

² Елизавета Юльевна Шабад (1878—1943) — советский педагог, автор ряда книг и статей по вопросам дошкольного воспитания и детской литературы.

5 июня <1942 г.>

Здравствуй, черноглазая моя. Опять я брожу по частям и не знаю, когда вернусь «домой». А «дом» — это место, где ждет твое письмо, — я уверен, что ждет.

Напряженно занимаюсь с группой в 25 человек, подучил их, и вчера в 10 вечера и сегодня в 4 утра мы выступали на разных участках. Совсем

особое чувство бодрости, сделанной нужной работы, опасности. А люди — такие разные, в большинстве — хорошие. Здесь ведь не видно, как человек проявляет себя в мелких личных делах. Гораздо виднее черта, которая есть у большей части, — примиренность с возможностью или даже с неизбежностью гибели в борьбе за свое, родное.

Вот маленький политрук Калитин, который вел нас на участок. Восторженный украинец, любитель природы. «Разве только птицы не понимают, что война, — заливаются песнями? Я вот тоже не понимаю, что война. Смотрю на этот лес, на это небо и не понимаю, что война. А пролетит снаряд — тогда вспоминаю — да, ведь война!»

Он идет, прихлопывая комаров на бритой голове, и вдруг проникновенным голосом говорит:

Не пылит дорога,
Не дрожат листья...

— А как наши бойцы вспоминают жизнь дома, до войны, — продолжает он свою мысль. — Сколько художественности вкладывают в эти воспоминания!

Начали заниматься в лесу, но нас захватил ливень и град. Мокрые до нитки, добились разрешения прожить три дня в избе, — это непорядок, в деревнях не следует сейчас жить. Один из бойцов вошел в дом, сразу взглянул на стену: «Что, часы не идут?» Снял ходики, поковырялся, починил. «Все-таки, будет обо мне память». Так по-хозяйски, по-свойски.

Хозяева долго обрабатывают крапиву, мох, подбавляют муки и пекут хлеб. Ничего, довольно вкусный.

Одного из учеников, который лучше других читает по-немецки, я вчера выгнал с позором за грязную винтовку. Показал всем: ржавая, ствол забит. Он начал оправдываться, я скомандовал: кругом — марш, как настоящий командир. Сегодня у всех винтовочки блестят, как стеклышко.

Выступали вчера без всякого прикрытия, нас предупредили, чтобы мы долго не возились, наверно, откроют огонь. Нас подвели к лесному завалу, в 75—100 м от немцев. Слышны были, неясно, их разговоры. А наш крик мы проверяли — совершенно отчетливо на 250 м. Я расставил ребят, прокричал первый лозунг, потом все — хором, так несколько лозунгов. Была полная тишина. Я отправил всех моих крикунов и остался с одним, знающим местность, чтобы в случае налета не наскочить на минное поле. Прочитал еще два длинных лозунга; кричал так, что запершило в горле, кашель стал мешать. Пришлось, дочитав лозунг, прекратить. Парень мой выкрикнул еще один, и мы пошли. В это время началась трескотня. Пока мы дошли метров 150 до землянки, полетели трассирующие пули, разрывные зашлепались о деревья; немцы выбросили, наверно, вагон мин и снарядов. А тут и наши открыли ураганный огонь, и концерт тянулся до утра. Я спал отлично, хотя в землянке текло отовсюду. В три разбудил Калитина: пора выступать. Он спросонок говорит: наверно ничего не выйдет, стрельба будет. Я говорю — попробуем. Пока дошли до нового участка, все стихло. Тут было куда скрыться в случае обстрела. Читали долго, до хрипоты — и ни одного выстрела! И такие веселые все плелись домой, за 10 км. Днем я прилег, но никак не мог заснуть, очень злит меня это. Сейчас устроил «выпуск», всем выдал справки о прохождении курсов, и подарки — книжку и два конверта с бумагой. Все очень довольны. Я, как водится, сказал «речь», ребята очень благодарили и за науку, и за то, что я им давал отдохнуть, поспать. А через полчаса с новой группой едем на новый участок. Опять будем выступать вечером и утром¹. <...>

¹ Пропаганде среди войск противника посвящен также рассказ Гершензона «Концерт», публикуемый далее.



«ТРАССА НА ФРОНТ»

Рисунок В. И. Курдова (итал. карандаш), 1943

Третьяковская галерея, Москва

6 июня

Еще два выступления, Листик. И оба удачные. Ночью мы были у нового завала, в 75 м; немцы били по самолетам, безуспешно, но такого моря огня я не видел. Это — фейерверк, во всех направлениях в небе — неподвижно повисшие на мгновение, извивающиеся и прямые ожерелья, цепочки трассирующих, разноцветных пуль. На минутку мне стало страшно, когда я подумал, что сейчас вся эта масса пулеметов, автоматов вместо вертикального начнет бить в горизонтальном направлении. Ведь завал — не защита. Рядом был в запасе блиндаж. Но читать нужно было «голым».

Я тщательно всех расставил, разучил даже отход. Потом начал — и всякая стрельба прекратилась: немцы слушали. Ребята были совершенно счастливы, читали очень хорошо.

В четыре утра мы были уже на новом месте. Тоже 75 м, хорошее прикрытие. Но бойцам хотелось кричать из-за разбитого танка, в 30 м. Я оставил их в укрытии и с одним бойцом пробрался к этому танку. Выступать здесь было нелепо: с трех сторон — в 30—40 м немцы (их не видно, они — в опушке леса), а от нашего блиндажа нельзя даже увидеть, что здесь происходит. Несколько минут я постоял, примеряясь, вынув револьвер из кобуры; у бойца был автомат. Необходимости кричать отсюда не было — за 75 м должно было быть слышно, как в комнате.

Мы вернулись, и я специально предупредил, чтобы никаких концертов из-за танка не допускалось. Вперемежку с хором я читал 20 минут в рупор, как и все, — ни одного выстрела. Было такое чувство, что здесь можно читать хоть целую газету. Но я боялся перетянуть ниточку. Когда мы отошли уже порядочно, нас догнало несколько пулеметных очередей; но мы вовремя успели упасть, иначе многим испортило бы ноги — пули шли веером на высоте в полметра.

Устал я отчаянно, две ночи почти не спал и много таскался по лесу. Зато все удалось отлично. Мои ученики расхватили рупора, ни за что

нельзя было у них отобрать их. Конечно, они будут кричать при всяком удобном случае.

Сегодня я выплусь, а завтра перейду в другую часть, сколачивать новые группы. <...>

Из записной книжки

КОНЦЕРТ

— Я живу в самом центре Кобулет. Так ты знаешь Кобулет? Неужели, правда, знаешь? Живы будем, приедешь, — кого хочешь, спроси — Сарджеваладзе, экспедитор, — меня в Кобулет каждый знает. Приезжай, гостем будешь. Жена есть? С женой приезжай. Детки есть? С детьми приезжай. У нас в Грузии обычай такой, — кто встретился далеко, потом домой приедет, — самый дорогой гость будет. Неделю живи, месяц живи, сколько хочешь живи, рады будем. Ты хачапури кушал? У нас, когда гость приедет, обязательно хачапури делают. Тесто такое тонкое раскатывают, самая белая мука. Потом сыр, тонкий слой кладут, потом опять тесто, как газета, тонкое, потом опять сыр. И масла много, и не всякий сыр годится. Самый мягкий, только самый мягкий годится. А кефаль кушал, знаешь, что такое кефаль? Ее тоже по-разному можно сделать. С толченым орехом, с лимончиком. Ца-ца-ца, хорошо мы до войны жили. В самом центре Кобулет...

Я не мог сердиться на своего ученика — такой он был милый и открытый, сержант Сарджеваладзе — весь, как на ладошке. Глаза горели у него черным огнем, даже в темноте, сверкали белизной зубы. Невысокого роста, плотный, он был похож на француза больше, чем на грузина: типичный французский «пуалю»*, — особенно, когда он снимал надвинутую на глаза меховую ушанку. Автомат неподвижно, привычно висел у него за спиной, а в руке он держал жестяной рупор, — таких изготовили мы много, чтобы устраивать «концерты» немцам.

Три дня с утра до вечера я разучивал с нашими бойцами немецкие лозунги. Кое-кто из ребят, — те, что недавно окончили школу, — знали латинский алфавит, читали немножко по-немецки. Другие записывали немецкие слова русскими буквами. Нелегко было научить ребят правильному произношению. Для русских камнем преткновения был звук «h», одни говорили «гэндэ гох», другие — «хэндэ хох».

— Нет, не так, — поправлял я. — Говорите с придыханием, как украинцы говорят: Гаврила, Господи.

Украинцу Панченко никак не давалось слово «гэфангэн», у него все получалось «гехванген».

Сотни раз уже мы повторили лозунги, — и поодиночке, и хором, — и дело пошло на лад. В это время появился Сарджеваладзе. Он только что вернулся из разведки и не виноват был в том, что опоздал.

— Латинский алфавит ты знаешь?

— Не знаю. Я по-грузински могу хорошо писать, я среднюю школу в Батуми окончил.

Что мне было с ним делать? Три дня — небольшой срок, а много часов уже утекло; нельзя было ради одного человека задерживать всю группу. Наскоро я продиктовал сержанту немецкий текст и даже не мог

* Poilu — солдат (франц.); слово, вошедшее в обиход в годы первой мировой войны.

проверить, правильно ли записывает он произношение слов. Два-три раза он прочитал мне лозунг, — ни один немец не понял бы, что это немецкая фраза. Я махнул на Сарджеваладзе рукой и вернулся к работе с группой.

Занятия мы проводили в лесу, и занятия эти не похожи были на классные. Мне нужно было научить моих учеников не читать, не говорить, а кричать по-немецки, — чтобы враг слышал отчетливо каждое слово там, за колючей проволокой, в своих блиндажах. Я встал на пенек и протянул руку в сторону просеки.

— Разомкнуться на десять метров один от другого. Бегом — марш!

— Громче, громче, громче, — я только и делал, что кричал: громче! Издалека, за сотню метров, я услышал голос Панченко: «гехванген».

— Не гехванген, а гэфангэн! — прокричал я, так что даже запершило в горле.

— Гехванген — долетело в ответ.

— Отставить!

— Гехванген!

— Отставить!

— Гэфангэн!

Наконец-то! Я отер пот со лба.

Тихие, чуть слышные звуки донеслись из глубины леса. Я знал, это — Селим Галиев, робкий татарин, который словно стеснялся набрать полную грудь воздуха и все бормотал под нос, едва шевеля тонкими губами.

— Громче! Еще громче! Еще! Отставить! Сначала! Вот так. Теперь давайте все хором. Раз, два, три!

Нестройно, перебивая друг друга, то вырываясь вперед, то отставая, раздались голоса:

«Если немецкие солдаты и офицеры...» Слово «офицеры» наполнило на слово «солдаты».

— Отставить! Сначала. Раз, два, три. Больше паузы. Отставить. Ко мне — бегом марш!

Я стягивал группу и снова разбрасывал ее по лесу, на разные дистанции; почти все затвердили уже лозунг накрепко и повторяли его без бумажки. Я шлифовал произношение, то с каждым в отдельности, то со всем моим хором. С рупорами и без рупоров. Молча, не спуская с меня глаз, сидел, прислонившись спиной к пеньку, сержант Сарджеваладзе и беззвучно шевелил губами.

— Взять рупора. Рассыпаться по лесу, замаскироваться. Приготовиться. Начали! Раз, два, три!

Все исчезли — ни души кругом. Только березки, играющие на солнце свежими листочками, только прямые, строгие ели. Отчетливо, оглушительно громко, все в унисон, полетели из чащи слова невидимых крикунов: «Если немецкие солдаты и офицеры сдаются...»

— Хорошо, совершенно хорошо. А ну-ка, еще, на пятьдесят метров дальше!

Пока группа расходилась по лесу, я подошел к сержанту и заглянул в знакомые мне узорные буквы.

— Ну-ка, прочитай.

Он оглушил меня, — я не ожидал, что у него может быть такой сильный голос. Но, боже мой, что он делал с ударениями! Он выделял ударные гласные и выкрикивал их как-то отдельно, нараспев, — с таким жаром, с такой страстью, будто каждым звуком убивал врага. Я не хотел его обидеть и сказал осторожно:

— Ударения правильные, на тех слогах, на которых нужно. Помни только, немцы не говорят так, нараспев, постарайся читать ровнее, вот так.

И я два-три раза повторил ему фразу, окончательно потеряв надежду, что когда-нибудь его речь будет понятна для немца.

Между тем группа уже рассредоточилась глубже в лесу, нужно было продолжать занятия. Даже в перерывах я не имел возможности поработать с сержантом. И все время, даже повернувшись к нему спиной, я чувствовал на себе взгляд его блестящих, мечтательных глаз. Селим Галиев преодолел свою робость, и голос его зазвучал громко и уверенно. Панченко перестал сбиваться на слове «гэфангэн». Сибиряк Долгих, охотник на медведей, запомнил, наконец, что по-немецки нужно говорить не «солдатэн», а «зольдатэн», и не «офицэри», а «официрэ».

За первым лозунгом мы разучили второй и третий.

— Неужели только два дня прошло с тех пор, как мы начали заниматься? — думал я, слушая, как из-за речки с опушки леса гремят рупора, отчеканивая каждое слово.

Сарджеваладзе не ходил за речку, мне показалось, что он и сам убедился в бесплодности своих усилий. Нужно было направить его обратно, в его роту, но мне жаль было его огорчить. Я ждал, что он сам подойдет ко мне и скажет об этом.

На третий день утром я сказал моему хору:

— Ну, сегодня вечером мы устроим для немцев концерт. А сейчас начнем испытания. Пойдет агитировать немцев только тот, кто сдаст все три лозунга на «отлично».

Один за другим вставали с места бойцы и без запинки, не глядя в тетрадки, читали лозунг за лозунгом. «Хорошо» получили только двое, — остальным, с чистой совестью, я мог поставить «отлично».

Сержант Сарджеваладзе по-прежнему сидел у своего пенька и молчал. Я упустил минуту, когда к нему подсел Селим Галиев. Вдруг Селим своим обычным, робким голосом сказал:

— Сарджеваладзе обижается, что вы его не спрашиваете.

Это было так неожиданно, что я оторопел.

— Ну, ну, давай, товарищ Сарджеваладзе! — обрадованно воскликнул я.

Не изменивши позы, только сняв свой неразлучный автомат с плеча, сержант отчетливо повторил все три лозунга.

— Повтори, пожалуйста, с рупором.

Он взял рупор, встал и начал кричать. Это были немецкие слова, чистые немецкие интонации. Я слушал и не верил себе: это было похоже на чудо. Ни резких выкриков, ни распева. Ясная, правильная немецкая речь! Я подошел и пожал сержанту руку.

— Спасибо, видно, ты поработал хорошенько. А я ведь думал, у тебя ничего не получится. Кто же помог тебе?

— Сам помог, Селим Галиев тоже помог.

Зубы его опять засверкали, в глазах улыбнулась радость.

— Так можно мне будет пойти, немцу кричать?

— Как же! Непременно, непременно пойдем. Ай, молодец!

— А где выступать будем? — спросил Сарджеваладзе.

— Где-нибудь на участке второго батальона, он всего ближе к немцам.

После обеда я дал ребятам поспать час-другой.

Потом подошел, растолкал Панченко. Он привстал, продирая глаза.

— Что, уже идти?

— Нет еще. Ну-ка, второй лозунг...

Он повторил его без запинки.

— Теперь я уверен в тебе. Раз спросонок не забыл, и на передовой не забудешь..



ОБРАЩЕНИЕ К СОЛДАТАМ ПРОТИВНИКА

Передача из окопов боевого охранения

Фотография Н. Асина, июнь 1942 г.

Центральный архив кино-фото-фонодокументов, Красногорск

Панченко крикнул в рупор и разбудил всех остальных. Я посчитал свою группу — отличников, которые должны были выступать на «концерте».

— А где же Сарджеваладзе?

Его нигде не было, никто не видел, как он ушел.

— Наверно, ушел к себе в роту, — сказал кто-то. — У него там путаница получилась с продовольственным аттестатом.

Я послал к нему в часть связного, но дожидаться его возвращения не смог — нужно было поспеть на место засветло и выступать не позже девяти часов, когда атмосфера особенно тиха и звуки разносятся далеко. А до второго батальона, где нам приказано было выступить, было не близко. К тому же следовало побеседовать еще с командиром батальона, наметить наиболее выгодный участок и кое-что предпринять, чтобы ответить ураганным огнем, если немцы попытаются накрыть нас своими минометами.

Мы сели в грузовую машину и покатали по шоссе.

— Куда же мог деться Сарджеваладзе? Ведь он знал, что сегодня выступление! И что там такое у него с аттестатом?

Несколько раз я вспомнил о нем дорогой, потом все лишнее вылетело из головы — нужно было как можно лучше обеспечить операцию.

Командир батальона был уже предупрежден. Это был украинец огромного роста — даже наш медвежатник Долгих был ему по плечо.

— А, крикуны пришли! — добродушно сказал он. — Ну, сидайте, хлопцы.

Он взял у Селима рупор, приложил его к губам и гаркнул:

— Га! Алло, фрицы, капут!

Потом развернул карту и стал объяснять, где нам лучше устроить «концерт».

— Вот тут, бачите, стоит у меня третья рота. Она к немцам наиболее близка. Яких-нибудь сотня метров. Тут лес идет, такой щипкою, это будет роща «Сапог». В этой, значит, опушечке — мы, а напротив — немец. Тут вот он, гадюка, сидит.

При этих словах он провел ногтем большого пальца по карте с таким отвращением, будто давил клопа.

— Так вам нужно держаться восточнее этого «Сапога». А налево — никак не можно. Там же он, сукин сын, так и порет, так и порет с пулемета. А туточки вы будете за бугорком, пулемет не достанет.

Он сам повел нас в расположение третьей роты.

Я присматривался к лицам моих «крикунов». Ребята были воодушевлены предстоящей опасностью и сознанием важности порученного им дела. Шли молча, только рупора звенели, задевая за ветви. Изредка с тонким свистом пролетала, пересекая дорогу, пуля.

Смеркалось уже, когда командир батальона вывел нас на опушку.

— Чуеете, хлопцы, фриц дрова рубит, — шепотом сказал комбат.

И правда, отчетливо слышались удары топора. Я влез на дерево — сквозь редкие березки, как сквозь кисею, видно было отсюда широкое поле, колючая проволока и рыжие холмики глины — немецкие блиндажи.

— Туточки вам хорошо будет, за бугорочком, — повторил комбат. — Мины он, конечно, будет бросать, ну, мы ему тоже хвоста наломаем. Только, если он станет бросать, назад не бежите, бежите вперед, там у нас по краю опушечки ячейки понаделаны.

Я собрал своих учеников в кучку и напомнил им программу «концерта».

— Дистанция от одного до другого — десять метров. Начну я, с правого фланга, и, как только я прокричу первый лозунг, начнешь ты, Панченко...

Я загнулся, потому что мне почудилось, будто кто-то кричит где-то далеко, по ту сторону леса. Прислушался — было тихо. «Просто, лозунги эти у меня звенят уже в ушах», — усмехнулся я.

— Значит, сперва я, потом — Панченко, потом — ты, Селим, потом — ты, ты, ты, — и так все, по цепочке. Тогда я скоманую: раз, два, три, — и грянем все хором. Только смотрите, не спешите, выдерживайте паузы между словами. Если все будет благополучно, прокричим второй лозунг, и третий, в таком же порядке. В случае минометного налета командование переходит к командиру батальона.

— О це добре, — кивнул, улыбнувшись, комбат.

Тихо, беззвучно мои бойцы растянулись в цепочку по узенькой просеке. Последних двух мне уже не было видно, их скрыла зелень. Я поднес рупор ко рту. Но в эту минуту издали, откуда-то слева, слышались приглушенные расстоянием звуки, — словно патефон, если вместо иглолки вставить остро зачищенную спичку: «К чёрту Гитлера!.. Кончайте войну!.. Переходите в плен!..»

Сарджеваладзе! Конечно, это был он. Ударения прыгали у него, безударные звуки проваливались, я скорее угадывал их, чем слышал. И тотчас где-то в той стороне застрочил пулемет.

— Нужно отвлечь огонь, — подумал я.

Приложил рупор ко рту и прокричал первый лозунг: «Если немецкие солдаты и офицеры сдаются, Красная Армия берет их в плен и сохраняет им жизнь».

Вслед за мной прокричал Панченко. Лозунг прокатился по всей цепочке. Тишина. Пулеметы смолкли. И оттуда, с западной стороны, как

запоздавший отклик эхо, донесся голос Сарджеваладзе. Он повторил наш первый лозунг.

— Раз, два, три, — скомандовал я, и хор, отрубая каждое слово паузой, бросил еще раз эту фразу к немецким блиндажам.

Видимо, то, что мы рассредоточились правильно, и неожиданная поддержка сержанта слева, — это помешало немцам засечь направление звука. Две мины хлопнули в стороне, никому не причинив вреда. Наши тяжелые минометы ответили четырьмя выстрелами — и дуэль смолкла. Лес насторожился, противник молчал и слушал. Мы без всякой помехи довели программу до конца.

— А Сарджеваладзе? Его, наверно, убили, — с дрожью в голосе прошептал Селим Галиев.

— Молчи, — сердито сказал я ему. У меня тоже камень лежал на сердце.

Наша тревога была напрасна. Сарджеваладзе ждал нас на командном пункте батальона. Издали еще мы услышали, как он пререкается с часовым:

— Какой тебе пропуск! Ну, мушка. Нет, не мушка? Ну, шомпол пропуск. Ну, патрон пропуск. Какой еще тебе пропуск! Концерт слышал? Вот у меня рупор. Рупор — пропуск!

Увидев нас, он оттолкнул часового и подбежал ко мне.

— Хорошо я кричал? Ударение делал? В первой роте кричал, второй роте кричал, третьей роте кричал. Даже горло болит.

— А почему ты пошел один?

Ракета — яркая, как магний, ракета осветила его лицо, исцарапанное сучьями, и вымазанную глиной шинель. Глаза его сверкали от волнения и радости.

— Ты сказал, я хорошо кричу, можно мне будет идти концерт давать.

— Нас-то подождать нужно было! Ведь ты смотри, куда заполз, прямо под пулеметы.

— Ничего, товарищ командир, я по-пластунски полз. Извини меня, товарищ командир, терпения у меня не было. Так им кричать хотел — никак невозможно ждать. Спасибо тебе, что меня по-немецки учил. Как я тебе отплачу? Живы будем, приезжай ко мне в Кобулет. Я в самом центре Кобулету живу. Кого хочешь, спроси, меня каждый ребенок знает. Сарджеваладзе, экспедитор. Обязательно приезжай, товарищ командир. Дорогой гость будешь.

30 мая

13 июня <1942 г.>

Здравствуй, Лилиюшка. Заканчиваю работу еще в одной части, сегодня вечером и на рассвете выступим перед немцами, покажем им наши успехи в немецком произношении, а завтра — домой; правда, дом переехал, куда, еще не знаю, но письмо, говорят, есть, надеюсь, от тебя. Четверо из моих учеников на этот раз — казахи, трое усвоили всё отлично. Удивительная вещь — диалектика. Молодые ребята — казахи, — у одного из них в кармане на счастье — баранья косточка, бабка, с которой он не расстается с детства и, прикладывая ее привычным движением ко лбу, к носу, к подбородку, гадает, вернется ли с нашего выступления живым, — эти ребята сейчас выступали, как подлинные носители культуры среди немцев. <...>

Чёртик, чёртик, вдруг мне привезли твое письмо и письма от Журки и Ильиной¹ — их тебе pošлю. Солнышко, понимаешь ты, что значит здесь ласковое слово, — твое ласковое слово? Нет, этого ты, конечно, никогда не поймешь. Сразу все делается легко и просто. Я с тоской думал

о том, что впереди — опять ночь, когда буду без конца шагать, мокрый до нитки, по болотам, по лесам, искрошенным снарядами, по тропочкам минных полей, изрытых воронками. А сейчас — кажется, нет никаких трудностей, которые были бы слишком трудны.

Полоса у меня вообще скучная сейчас: я отписался, и в голове пусто, недели на две. Записал все, что вспомнил о выходе из окружения, о товарищах по ополчению. Хотелось бы послать тебе это все, но боюсь, чтобы не пропало. Кое-что написал хорошее, пошло, как только перепечатаю. Так я постарел на карточке? Ну, ничего не поделаешь. А чувствую себя хорошо. Вчера баловался, боролся с двумя крепышами-казахами, одного поборол, с другим — ничья. По утрам хожу на речку, моюсь до пояса, какая бы ни была погода. Если близко речка, конечно. Если останусь жив, хочу быть здоровым. Очень я рад, что ты работаешь над книгой, — мне это всегда ближе, и я точнее чувствую твои возможности. Как часто я вспоминаю Щедрина! ² И хорошо, что не только военные дела: в горячке войны сейчас совсем не видно, какую грандиозную художественную работу провернула страна. <...>

¹ Н. В. Ильина — редактор журнала «Пионер».

² Речь идет о совместно написанной работе: М. А. Гершензон и Л. С. Коган. М. Е. Салтыков-Щедрин. Биографический очерк. М., Детгиздат, 1939.

17 июня <1942 г.>

Здравствуй, мой мальчик ¹. Получил от тебя большое, хорошее письмо, спасибо, дружочек.

Я вернулся домой; за это время, что я ездил, «дом» переменялся, я его еле нашел. У нас большие шалаши в лесу. От дождя они, конечно, не защищают, но у меня есть плащ-палатка, а вдобавок я получил отличные, непромокающие сапоги. Вообще мы живем не на самом фронте, но ты видишь по письмам, что я последнее время почти не вылезая с передовых. Пули и мины меня не берут, это уже установлено твердо. Чтобы мои ученики не робели, я обычно даже не сгибаюсь под обстрелом. И не страшно мне ни чуточки.

Очень я рад, что вы работаете по устройству госпиталя. И тому, что собираетесь заниматься гербарием и насекомыми. А нельзя у вас организовать сбор лекарственных растений? Это очень важное дело. Посоветуйся с учительницей. <...>

«Фронтového юмора» нового нету, как только будет, пришлю ².

Радуетесь вы второму фронту? ³ Это для Гитлера — начало конца.

У нас очень много комаров, так и едят. Мы их называем фашистами.

Сегодня я на всякий случай послал тебе 200 рублей. Может, пригодятся.

Крепко, крепко тебя целую, мой родненький. Очень я по тебе соскучился. Пиши, светлячок мой. Передай привет всем, всем товарищам. Я бы вам послал рассказов, но мне сейчас негде их перепечатать.

Будь здоровенький и веселый.

Твой папка

¹ Это письмо адресовано сыну Евгению.

² «Фронтový юмор» — журнал, издававшийся Политуправлением Западного фронта.

³ Имеется в виду подписание договора между СССР и Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии (26 мая 1942 г.) и соглашения между СССР и США о взаимной помощи в ведении этой войны (11 июня 1942 г.).

23 июня <1942 г.>

Здравствуй, Лилюшка. Я опять захандрил что-то; писем нет, с начальником нелады, а главное, не пишется, и в командировку пока не посы-

лают. Вчера дежурил ночью по лагерю, написал маленькое стихотворение:

На этой поляне траву не топтали,
И кожу с деревьев не рвали рывком,
И зисы не мяли весенних проталин,
И жук-листогрызик, с войной незнаком,
Не падал в траву изумрудною брошкой,
Испуганный гулким воздушным толчком.
Мы здесь от войны отдохнули немножко,
Вещунья-кукушка потешила нас,—
Потом повела нас лесная дорожка
Туда, где кукушка — свинцу не указ,
Где в щелы столетние ели разбиты,—
В мочалу измята, истерта душа,
Где пули, где свист пролетает, сердито
За пулей незримой вдогонку спеша.

Это ведь правда, пуля давно пролетела, когда ты слышишь свист.

Вот и год войны, Лиловочка. Все мысли сейчас — с Севастополем. Чего бы я ни дал, чтобы быть там. Даже непоятно, откуда у этого белого, сонного, тихого городка, солнечного и провинциального, такая стойкость народа. Ведь, конечно, не только прибывшие, но и местные, и в особенности местные там дерутся, как дрался Севастополь когда-то, или еще смелей и упорней. Там, наверно, Бондарин¹, я очень завидую ему. У нас слишком тихо, терпения нет.

Тут собирались ко мне из разных частей лучшие мои ученики разучивать новые лозунги, о соглашениях с Англией и Америкой. Приятно было видеть их. Один не приехал, ему оторвало ногу. Такой славный был, задумчивый мальчик. Один рассказал, как выступал в 20 метрах от немцев. Он пополз с товарищем в разведку, перерезали проволоку, подползли к немецкому минному полю и зацепили кошкой мину. Но мина оказалась заприколенной и взорвалась. Место для разведки было испорчено, и с досады мой разведчик решил покричать лозунги. Рупор у него был с собой, а по полю шла канавка, вроде межи,— по ней можно было уползти от пулеметного обстрела. Немцы были совсем рядом, он крикнул «Ахтунг, ахтунг!» — и прокричал два лозунга. Товарищ его, отползший в сторону, видел, как немцы обернулись на звук и слушали. Потом раздалась команда, они побежали по своим местам и открыли огонь. «Тогда я тихонечко уполз».

Помнишь, я писал тебе про танк в 30 метрах от немцев?² Наши подошли к нему ближе, и боец, с которым я ходил туда, — с чудной фамилией «Калуга», — кричал из этого танка, из амбразуры. Немцы засыпали его пулями и минами, но в танке это не могло повредить. Представляю себе, как он радовался. У него трое детей, у этого Калуги.

У нас всё дождь, шалаши текут, как ни крой их корой. Меня выручает моя плащ-палатка. Сольешь с нее полведра воды, а под нею — сухо, и исподняя сторона суха. Солнышка хочется очень. И тебя, и Юрашку, и Женьку, и друзей. Мучительно медленно тянется время.

Ну, не ругай, больше не ною. <...>

24-е

Еще у меня к тебе просьба — пришли мне стихотворение Пастернака «Любка». Тут много ночных фиалок, у меня завязли в зубах строчки: «И даже запах льют поодиночке» и «Ночной росой оттягивают мочки», а никак не вспомню остального. Ладно?

Сегодня солнце яркое, как мне хотелось.

Вытащил на просушку палатку, шинель. Все еще спят, час-другой — мой.

Доброго утра, мои любимые.

¹ С. А. Бондарин в первый период войны действительно находился в Севастополе (см. в настоящ. томе публикацию его записных книжек 1941 г.).

² Об этом Гершензон писал в письме от 6 июня 1942 г.

7 июля <1942 г.>

Листочек, начальник пришел из бани, теперь часок меня наверно не оторвут. Надо воспользоваться минутками, написать тебе. Вчера возвратился, машины не шли, отпагал километров 30 по грязи, здорово устал. Пришел и разочаровался — от тебя письма нет. Только сел читать Журкино — и от тебя несут, да свежее, от 17-го! Командировка была утомительная, инспекторского характера, я это не люблю. День-два посмотрел, и шагай километров 20; с людьми не успеешь встретиться, потолковать, чтобы что-то осталось. Я люблю работать, а не проверять. Вызвали неожиданно. И спутник был угрюмый, обиженный, слишком хорошего о себе мнения, и скучный.

Ты вся полна была договором, когда писала письмо. Единственное, что меня глубоко обрадовало, — это надежда на длительную передышку после войны, в частности, и для наших мальчиков. А поддержка сейчас — это само собой разумеется; даже 2000 танков — это кое-что. Но Кельн и Эссен — это больше, в проекции особенно. На Берлин бы тысяч 10, — чтобы немцы как следует узнали на своей шкуре там, в тылу, что значит война ¹.

И не только заводы, а мирное население, — чтобы не молили бога о победах свастики. <...> Иной раз стоишь перед воронкой, заплывшей водой, — это целый пруд, в котором 10—15 человек могут плавать, и не будет тесно. А как мучится народ в прифронтовой полосе. Я пробовал хлеб с крапивой и щавелем, и хлеб из липовых листьев, черный, как из египетских пирамид. Когда же такой хлеб будут есть немцы? На нашем участке было несколько крупных удач, хорошо развитые частные наступления. Появились опять и пленные, и письма, хотя и немного. Примерно, один пленный на 300—500 убитых, на 1000 раненых. И чаще всего — подранок, которого противно допрашивать. Я рад, что ездил, и мне не пришлось, такая это все идет сволочь.

Беспокоят дела в Египте. Нет, нет, да вспомнишь шутку про бассейн и чайную ложку. Медленно, все-таки, разворачиваются англичане. Хотя я и не ждал от них быстроты, и не жду. Подумать только, что вся армия Роммеля — 100 000, а мы под Севастополем убили 300 000 немцев, — под Севастополем только! <...>

Пока я ездил, меня тут Военный Совет наградил часами — по газете «Уничтожим врага» ². Я этому рад больше всего потому, что мне нужно будет побывать в редакции, и там, может быть, окажется не в командировке Гриц.

Будьте мне здоровеньки.

М и ш а

¹ См. прим. 3 к письму от 17 июня.

² Приводим «Выписку из приказа войскам 5 Армии Западного фронта»:

«5 июля 1942 г. № 0560. Действующая Красная Армия.

За отличную работу по выполнению заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками — объявляю благодарность и награждаю часами:



М. А. ГЕРШЕНЗОН (сидит второй слева) В ГРУППЕ БОЙЦОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИМ
ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ С ЛОЗУНГАМИ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Фотография. Западный фронт, 5 армия. Июль 1942 г.

Собрание Л. С. Коган, Москва

<...> 5. Переводчика 7 отделения политотдела 5 армии, военкора армейской газеты «Уничтожим врага», интенданта 2 ранга Гершензона Михаила Абрамовича.

Подлинный подписали:

Командующий войсками 5 армии
Герой Советского Союза
генерал-лейтенант
Федюнинский

Член Военного Совета
Бригадный комиссар
Иванов

В комплекте газеты «Уничтожим врага» за первую половину 1942 г. выявлено около 40 произведений Гершензона. Кроме раздела «В лагере врага», который он вел систематически (см. об этом выше, прим. 2 к письму от 16—17 января), он напечатал здесь ряд фельетонов, стихотворений, переводов.

24 июля <1942 г.>

Здравствуй, Юрашка. Посылаю тебе фото — моих учеников (тут же двое командиров, это начальники в части). Тот, который лежит справа, — это мой дорогой Сарджеваладзе, экспедитор¹. А над ним на коленях стоит чудесный мальчик Швейде, ему за это время успело уже оторвать ногу. А девочка — это наша переводчица, «маленькая Ирочка», — у нас их две, и обе — Иры. Большая — вредная, а маленькая — умная и хорошая. И совсем, совсем маленькая. Она вдруг начинает плакать: хочу к маме. Плачет день, два, потом у нее проходит. А сейчас у нее мама заболела, и она попросилась в Москву. Начальник ее не пустил, она пошла к его начальнику. И тот ее не пустил, она пошла к его начальнику. Сидит, ждет, а кругом — генералы, генералы. А начальник, самый старший, член Военного Совета, назвал ее «крошкой» и «малюткой». И оказался совсем не страшным, и отпустил ее к маме. А справа с рупором стоит

армянин Аракелов, очень славный парень. Он решил, что Ирочка похожа на армянку, и сразу в нее влюбился, пока учился. Другой, который лежит слева, Григорян, грамотней его и за него написал Ирочке письмо по-армянски: «Я хотел бы с вами познакомиться». А Аракелов подошел и сказал: «По правде это я написал, я написал *«кратце»*, а хотел бы написать больше». Мы очень смеялись. <...>

¹ См. о нем в рассказе «Концерт».

26 июля <1942 г.>

Лилушка, неожиданно опять получил письмо. Ты, глупенькая, разве я жалуясь, что ты мало пишешь? Я так привык прежде редко получать письма от тебя, что сейчас всегда получаю письмо раньше, чем начинаю думать, что пора бы. За все время было два-три перебоя, когда я уже тревожился. Ты умница, дружок. Твои письма очень греют. Спасибо, спасибо за «Любку», и за «Ландыши»¹, это мои любимые.

Командировки у меня, конечно, не в Москву, а на передний край, потому я их жду всегда с нетерпением. В Москве я не был с тех пор, как повредился глаз, — полгода почти. <...>

Так хорош Шостакович?² Это большая радость. Сейчас особенно остро чувствуешь народную гордость. Послушаем когда-нибудь. Неужели и я пойму? Глазу моему все так же, привык смотреть правым, вижу и им хорошо, а левый — все как затянута марлей. Но я предпочел бы обрести слух, отсутствие его мне тяжелее, чем порча глаза. Не тревожься за глаз, это пустяки.

«Лирический дневник» — не читал, вообще не видел толстых журналов. Но Симонов работает отлично. В «Краснофлотце» был его очень хороший очерк о Керченских каменоломнях³, еще попадались очень хорошие его очерки, и даже стихи. Пьеса⁴ сделана наспех, примитивна, но и это сейчас работает хорошо.

От чего я в восторге — это от ленинградских рассказов Тихонова. Читала ты в «Правде» рассказ о хирурге и статуе Венеры?⁵ Я сутки вдруг начинал смеяться от радости, от удачи, которую ощущаешь, как свою. Видела ты уже фильм «Ленинград в борьбе»?⁶ Это — сплошная рана. Об этом нельзя говорить, как об искусстве, сейчас, во всяком случае.

Меня не пустили в командировку, дней пять еще просижу тут, это очень уныло. Каждый день будет длинный и тусклый. Если бы только писалось, как я рад был бы этим пяти дням. <...>

Лилушка, как нужны хорошие вести! Газеты мы получаем в тот же день, два раза в день принимаем сводки. И все мы уверены, что хорошие вести непременно будут, и скоро. Нужно продержаться еще две-три недели. <...>

М и ш а

¹ «Любка» и «Ландыши» — стихотворения Б. Пастернака, переписанные и присланные Гершензону по его просьбе.

² Речь идет о Седьмой (Ленинградской) симфонии Шостаковича, об исполнении которой в Новосибирске писала Гершензону жена.

³ Сборник стихов К. Симонова «Лирический дневник» (1942); его очерк «В Керченских каменоломнях» напечатан в журнале «Краснофлотец» (1942, № 9, май).

⁴ Пьеса К. Симонова «Русские люди» печаталась в «Правде» 13, 14, 15 и 16 июля 1942 г.

⁵ Рассказ Н. Тихонова «Весна» (из цикла «Ленинградские рассказы») напечатан в «Правде» 20 июля 1942 г.

⁶ «Ленинград в борьбе» (сценарий Вс. Вишневского) — документальный фильм Ленинградской студии кинохроники (1942).

5 Авг.

Лилиюшка, родная, здравствуй. Очень надеюсь, что скоро начну присылать вам хорошие вести.

Только написал эти строчки, оторвали — пришел корреспондент «Красноармейской правды», и в самом деле принес хорошие вести: соседи уже двинулись, заняли два километра пути.

Предложил тебе много писем от Леночки. Но второе о Иване и ее отбросил, что 1) уверял, что Лилиюшка до войны не работала, т. е. не была в Ленинградском университете, и авторитетна; 2) не хотел разлучать Журану с Кристиановичем; 3) с Вадой соглашался договориться намеренно; 4) ездил к Ивану тогда же и лично — чтобы рассмотреть дело или, труднее, для Машки и мамки, переждать задержку транспорта. Вот и все.

Сегодня предложил начальнику ряд интересных форм нашей работы во время боя. Очень интересно, что утвердят.

Пахнет делом, и сразу на душе — ясно и весело.

Будь здорова, любимая. Маша.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО М. А. ГЕРШЕНЗОНА ЖЕНЕ, 5 АВГУСТА 1942 г.

Автограф. Первый лист
Собрание Л. С. Коган, Москва

5 августа (1942 г.)

Лилиюшка, родная, здравствуй. Очень надеюсь, что скоро начну присылать вам хорошие вести.

Только написал эти строчки, оторвали — пришел корреспондент «Красноармейской правды»¹, и в самом деле принес хорошие вести: соседи уже двинулись, заняли два населенных пункта. <...>

Сегодня предложил начальнику ряд интересных форм нашей работы во время боя. Очень интересно, что утвердят.

Пахнет делом, и сразу на душе — ясно и весело.

Будь здорова, любимая.

М и ш а

Лилочка, разбирал сегодня свои папки и решил послать тебе два рассказа, которых не посылал, кажется; я не уверен в их качестве. Но боюсь, что они пропадут у меня, это было бы жалко. В одном конверте посылаю «Песню танкистов», в другом «Реквием фашиста»². Не суди их

строго, это — не лучшее из «Отступления песен», я знаю. Но пусть лежат у тебя. И пусть ты знаешь, о чем я думал, над чем работал.

Прочти «Песню танкистов» Юрашке.

¹ «Красноармейская правда» — газета Западного фронта.

² Рукописи этих рассказов хранятся у Л. С. Коган.

(8 августа 1942 г.)¹

Лилюсика, жена, Юрашка, Женька, я вас очень люблю. Мне не жалко смерти, а поцеловать вас хочется, крепко вас целую, я умер в атаке, ранен в живот, когда подымал бойцов, это вкусная смерть. Я уверен, что мы победим, вам будет хорошая жизнь. Миша. Наши прорвались, бегут вперед, значит, я умираю не даром. Лилька, хорошо было в Батуме.

Жук и Юрка, растите хорошо.

Сообщить в Союз писателей и по всем адресам записной книжки.

18 августа 1942 г. М. А. Гершензон был смертельно ранен. Эта запись сделана сразу после ранения, на поле боя. 14 августа М. А. Гершензон скончался в полевом госпитале. Записная книжка была позднее передана жене писателя.

В воспоминаниях Ос. Черного (журнал «Москва», 1964, № 9) впервые рассказано о мужественном поведении М. А. Гершензона на войне; однако в них, к сожалению, неверно изложены обстоятельства гибели писателя и допущена ошибка в дате его смерти.

28.8.42 г.

Дорогая Лия Семеновна!

Сообщаем вам тяжелую весть. Ваш муж и наш друг М. А. Гершензон 14.8.42 г. погиб в бою с немецкими захватчиками.

Он лично возглавил атаку бойцов одного из наших батальонов. В этой атаке он был тяжело ранен, вынесен с поля боя и доставлен в полевой госпиталь, где ему сделана была операция. Лечил его врач клиники профессора Бурденко тов. Мухин. Мы хотели отправить его на самолете в Москву, но врачи не разрешили сделать это, так как это ускорило бы конец.

Как только нам сообщили о его ранении, мы немедленно пошли к нему. Он был в полном сознании и хорошо себя чувствовал. Все его вопросы сводились к одному — заняли ли деревню, за которую шел бой, и насколько далеко прорвались наши части в расположение немецкой обороны.

Умер он на шестой день после ранения. Болей он никаких не ощущал и до последней минуты не сознавал, что умирает.

Похоронен он на братском кладбище, отдельно, со всеми воинскими почестями, оказанными в честь его.

Мы все потрясены его смертью. До сих пор не укладывается в мыслях, что его нет с нами.

Он всегда предупреждал нас, что в случае, если с ним что произойдет, вещи его и рукописи отправить вам, что мы и сделаем.

Пишите нам по адресу, на который писали ему. Мы вместе боролись и вместе спали. Нами поставлен вопрос о пенсии детям и вам. Известили мы и Союз советских писателей.

Дорогая Лия Семеновна! В любой момент, когда вам потребуются в жизни помощь и поддержка, знайте, что друзья вашего мужа — ваши друзья.

Жмем вашу дружескую руку.

Батальонный комиссар М а л а х о в
Батальонный комиссар С а в е л ь е в

Читайте о боях, в которых участвовал Михаил Абрамович, в «Правде» 27.VIII.42 г., в сообщении «В последний час»¹.

М а л а х о в

Миленька
— слышишь Франки
Женюшка,
я боев в тебе
люблю тебе
не так как
смерти, а
полюбить
боев хочет
время боев
... чиню с тобой

Ранен с тех —
вот, когда
подымал
боду об это
вкусная
смерти я
убери, что
мы поеду
вам будем
хорошо, ну
Миленька

Наши друзья
Белый Вепрь,
Знаешь, я
у дяди не
был
Мила, ты
Дан в
Батюшке

ПРЕДСМЕРТНЫЕ СТРОКИ М. А. ГЕРШЕНЗОНА

Написаны на поле боя после ранения. 8 августа 1942 г.

Первая, вторая и третья страницы

Собрание Л. С. Коган, Москва

¹ В сообщении, на которое ссылается батальонный комиссар Малахов, говорилось: «Дней 15 тому назад войска Западного и Калининского фронтов на Ржевском и Гжатско-Вяземском направлениях частью сил перешли в наступление.

Ударами наших войск в первые же дни наступления оборона противника была прорвана на фронте протяжением 115 километров. <...>

Фронт немецких войск на указанных направлениях отброшен на 40—50 километров.

По 20 августа нашими войсками освобождены 610 населенных пунктов <...>

Количество убитых немецких солдат и офицеров достигает 45 000 человек <...>»

В сообщении перечисляются разбитые немецкие дивизии и трофеи наших войск. Среди войск, отличившихся в боях, названы войска генерала Федюнинского, т. е. та 5 армия, в политоделе которой служил М. А. Гершензон.

<9 октября 1942 г.>

Уважаемая Лия Семеновна! Вещи Михаила Абрамовича направляются вместе с этим письмом. О его самочувствии после ранения может свидетельствовать следующее письмо, которое я получил от него из полевого госпиталя:

«10/VIII—42 г. Тов. Малахов, я был тяжело ранен в живот, но бойцы вынесли меня. Мне сделали операцию, очевидно удачно, и я сейчас нахожусь при медсанбате... * гвардейской Краснознаменной дивизии. У меня к Вам большая просьба: вызовите из... * сержанта Лоповока, которому я оставил ряд документов. Пусть он захватит мой заплечный мешок, плащ-палатку. Надеюсь, что недели через две-три я смогу приступить к работе. Не сообщайте о моем ранении жене, чтоб это ее не угробило. Привет всем товарищам. М. Гершензон».

Получив это письмо, я сейчас же отправился к нему в госпиталь, где говорил с врачом, сразу сказавшим мне, что положение Михаила Абрамовича безнадежно, что выжить он может только чудом. Отправку его на самолете в Москву врач запретил категорически. Когда я вошел в палату и М. А. увидел меня, то сразу закричал мне: „Товарищ Малахов, идите сюда!“

Он говорил со мной исключительно о делах. Я говорил ему, чтоб он прекратил разговаривать, он ответил, что разговор только развлекает его, не причиняет ему боли или усилий и что вообще он никаких болей не чувствует.

Был я у М. А. в госпитале два раза. Бывали у него там еще Альтман с женой, Гриц, Николаев и другой товарищ.

Вид у М. А. все время был хороший. Он очень много говорил, приходилось его останавливать.

Когда я был у него на пятый день после ранения (вторично), то врач разрешил ему питаться. Я принес ему боржом и мандариновый компот (по указанию врача). Попробовав компот, он сказал: „Как вино“.

Хоронили мы его с воинскими почестями. На похоронах его было около 120 человек, так как многие-многие любили Михаила Абрамовича и имел он большое количество друзей. На похоронах выступали я и Яковенко. Был дан трехкратный ружейный салют. В речах подчеркивали, что он много сделал в этой войне, умер коммунистом, умер по-геройски.

На могиле М. А. поставлен памятник. На цинке написано: «Здесь похоронен член Союза советских писателей, интендант 2-го ранга Гершензон Михаил Абрамович, героически павший в борьбе с немецкими захватчиками в районе деревни П(етушки)».

Могила его — у деревни, возле леска. За ней ухаживают дети красноармейцев из этой деревни.

Я, Лия Семеновна, уезжаю из этой части. Свой новый адрес вам сообщу. Тов. Савельев остается здесь.

Литературные материалы (записная книжка и тетрадь со стихами) переданы в военную комиссию Союза писателей (по просьбе тов. Либедицкого)¹.

Крепко жму вашу руку.

Н. М а л а х о в

9.10.42

¹ В настоящее время эти материалы хранятся у Л. С. Коган.

* Пропуск в подлиннике. — *Ред.*

Т. ГРИЦ

МИХАИЛ ГЕРШЕНЗОН

В декабре 1941 г. я начал работать в красноармейской газете «Уничтожим врага». И здесь под фельетоном о немецких пленниках увидел подпись Гершензона.

Война за полгода всех разметала. Многие друзья уже погибли, многие были неизвестно где. Даже встреча со случайным знакомым в эти дни была радостью, а Михаила Абрамовича Гершензона я знал давно и знал хорошо.

Мы работали вместе в Госиздате и в «Молодой гвардии». И летом и зимой он ходил с открытой шеей, в широком белом воротнике, какие носили когда-то романтики. Работал редактором и переводчиком. Хорошо знал немецкий, французский, английский. Горация переводил, не очень часто заглядывая в латинский словарь. Захотел прочесть «Божественную комедию» в подлиннике и выучил итальянский язык.

Трудоспособность его поражала. Если бы составить библиографию французских, английских и немецких книг, которые он перевел, список не уместился бы и на трех страницах. Не думая о договоре, просто для себя, перевел несколько тысяч строк американского фольклора². Перевел сказки Вашингтона Ирвинга и написал к ним прекрасное предисловие.

Детям нравились его рассказы о Робине Гуде³, повесть «Да здравствует Лефляншек»⁴ о восстании бретонских сардинниц, книга об истории картошки⁵. Но я больше любил «Две жизни Госсека»⁶, взволнованную книгу о музыканте Великой французской революции, об искусстве, рожденном любовью и ненавистью.

Вероятно, для каждого писателя его лучшая книга в каком-то конечном, непрямом смысле автобиографична. Для Михаила Абрамовича такой книгой была его повесть о Госсеке.

Вторая жизнь Гершензона началась в первый день войны. От книг и словарей он ушел в ополчение и стал солдатом.

Рыл окопы и противотанковые рвы под Дорогобужем, радовался, что лопата ладно ходит в руках, что хорошо подвернутые портянки не стирают ноги. Радовался, что не раскис, подбадривал товарищей и, если мог, помогал им.

А война приближалась. Ночью небо на западе отсвечивало заревом горящих деревень, и ветер доносил глухие вздохи разрывов. <...>

Начался прорыв и окружение. Даже через несколько месяцев Гершензон говорил об этом неохотно. Видимо, боль еще не прошла. <...>

Я узнал от товарищей, что Гершензон работает теперь в политотделе армии. Очень хотел его увидеть, но встретились мы только через три месяца.

Началось наступление. Редакция кочевала вслед за армией. В феврале остановилась за Можайском в дер. Тихоновке. Немцы не успели ее сжечь, и нетронутые избы реденькой извилистой цепочкой растянулись по крутому берегу Москвы-реки. Я жил в чистой комнате, стены которой вместо обоев были оклеены страницами фашистских журналов.

Вот сюда однажды поздно вечером пришел ко мне Гершензон. Он изменился. На костистых щеках еще сильнее обтянулась кожа, темнее сделались коричневые подглазья, но голос — гортанный и напряженный — гудел по-прежнему.

В больших, не по ноге, сапогах, в солдатской шинели, которая горбом топорщилась на спине, в шапке-ушанке, упорно сползавшей на глаза, — это был все же прежний Гершензон, добрый и верный друг, старавшийся во всем найти хорошее.

Он очень устал, и рано утром ему надо было ехать с попутной машиной дальше, но мы проговорили до рассвета.

Гершензон вступил в партию.

— В сущности, — говорил он, — я давно уже коммунист. Только теперь я это оформил.

Работал он в 7 отделе — по пропаганде среди войск противника. Допрашивал пленных, составлял донесения, писал листовки.

Часто присылал в газету материал. Статьи, рассказы, фельетоны, стихи, заметки о том, как красноармейцы обманывают врага. Очень радовался, когда узнавал, что бойцам нравятся его вещи. Это была радость артиллериста, который видит с наблюдательного пункта, как его батарея накрыла цель. <...>

Встречались мы не часто и урывками. Помню, пришел к нему, а тут вернулся из командировки работник политотдела. Устал, ругал шоферов, ругал плохие дороги, а потом сказал, что ему хотелось бы жить лет через сто.

У Гершензона глаза даже потускнели от злости.

— Вы этого не заслуживаете, — сказал он, раздельно произнося каждое слово. — То, что вы говорите, — это пошлость. Будущее надо делать, а не мечтать о нем по-маниловски. Я хочу жить со своим временем. А это эмалированное, гигиеническое будущее утопических романов терпеть не могу. В нем скучно, как в магазине хирургических принадлежностей.

Работа инструктора тяготила Гершензона. Ему надоели пленные, надоело сидеть за письменным столом над донесениями. Хотел ездить на передовые, долго хлопотал об этом, наконец добился.

Ездил по частям и обучал бойцов выкрикивать антифашистские лозунги на немецком языке. Очень был доволен, хотя работа оказалась нелегкой. <...>

Гершензон всегда был впереди, ему часто приходилось переползать под огнем, а сердце сдавало. Но он никогда не ныл.

В последний раз живого и здорового Гершензона я встретил в роте, как раз после такого «концерта» с рупорами. Гершензон был очень огорчен. Он потерял свою записную книжку, искал и не мог найти. Мы поговорили минуты две и разошлись.

Это было в конце июля, а в августе началось наступление. Пошли дожди, глина раскисла, и грязь стояла такая, что танки вязли в ней чуть ли не до башен. Наступать было очень трудно. Даже снаряды подносили на руках.

8 августа 119 дивизия вела бои на подступах к деревне Петушки. Я видел это место. От густого елового леса здесь остались только короткие расщепленные пни. Такой был здесь огонь.

В одном из батальонов находился Гершензон. Командир был убит, и батальон под огнем залег. Тогда Гершензон (он был старший по званию — интендант 2 ранга) вытащил из кобуры свой парабеллум, крикнул: «Батальон, слушай мою команду. За мной! Ура!» — и, не оборачиваясь, побежал вперед, туда, где были немцы. За ним поднялись бойцы. Бежал Гершензон недолго. Автоматной очередью ему распорол живот. <...>

В полевом госпитале он держался мужественно, никому не говорил, как ему плохо, и о том, что ждет смерти. Спрашивал только, заняты ли Петушки и далеко ли прошли наши части.

14 августа он умер.

Так оборвалась вторая жизнь писателя и бойца Михаила Гершензона.

¹ Теодор Соломонович *Гриц* (1905—1959) — детский писатель, литературовед, товарищ Гершензона по довоенной литературной работе и по фронту. Воспоминания написаны для сборника о писателях-москвичах — участниках Великой Отечественной войны, подготовлявшегося военной комиссией Союза советских писателей в начале 50-х годов (сборник издан не был). В своих воспоминаниях Гриц излагает и факты, заимствованные из печатаемых нами писем и записных книжек Гершензона; во избежание повторений эти места в публикуемом тексте сокращены.

² Об этой книге — «Сказки дедушки Римуса» — см. выше, в предисловии А. Г. Когана.

³ М. Гершензон. Робин Гуд. М., Детиздат, 1940.

⁴ М. Гершензон. Да здравствует Лефляншек. М., Госиздат, 1929.

⁵ М. Гершензон. Земляное яблоко (История картофеля). М., Детиздат, 1940.

⁶ М. Гершензон. Две жизни Госссека. М., «Молодая гвардия», 1933.